МАРГЕРИТ ДЮРАС



ЛЮБОВНИК

Любовник
Маргерит Дюрас

Аннотация
Маргерит Дюрас. Любовник

Аннотация

Маргерит Дюрас уже почти полвека является одной из самых популярных и читаемых писательниц не только во Франции, но и во всем читающем мире. «Краски Востока и проблемы Запада, накал эмоций и холод одиночества — вот полюса, создающие напряжение в прозе этой знаменитой писательницы». «Любовник» — вершина творчества Маргерит Дюрас. Во Франции этот роман был бестселлером 80-х годов, за него писательница удостоена Гонкуровской премии. Поставленный по роману фильм не раз демонстрировался по телевидению.

«Нельзя вызвать желание. Либо оно есть в женщине, либо нет. Его видишь с первого взгляда — или же понимаешь, что его нет и не было. Сразу чувствуется в женщине сексуальная привлекательность или ее отсутствие. И это тоже пришло ко мне еще до познания».

Маргерит Дюрас
Любовник

Брюно Нюиттену

Однажды — я была уже в годах — в холле какого-то учреждения ко мне подошел мужчина. Он представился и сказал: «Вы меня не помните, но я знаю вас всю жизнь. Говорят, вы были красивы в юности, а для меня вы красивее сейчас, чем тогда, мне меньше нравилось ваше лицо юной девушки, чем теперешнее — опустошенное лицо».

Я часто вспоминаю этот образ — я одна еще вижу его и никогда никому о нем не говорила. Так он и стоит передо мной, безмолвный, чарующий. Этот свой образ я люблю больше всех других, восхищаюсь им.

Как быстро в моей жизни все стало слишком поздно. В восемнадцать лет было уже слишком поздно. С восемнадцати до двадцати пяти с моим лицом творилось что-то непонятное. В восемнадцать я постарела. Не знаю, может быть, это со всеми так, я никогда не спрашивала. Кажется, кто-то говорил мне, что время, случается, вдруг поражает людей в самые юные, самые праздничные годы жизни. Я постарела внезапно, грубо. Время подчиняло себе мои черты одну за другой, я видела, как они меняются, как глаза становятся больше, взгляд — печальнее, рот — решительнее, лоб пересекают глубокие морщины. Не могу

сказать, чтобы это меня испугало, наоборот, я наблюдала, как стареет мое лицо, будто читала увлекательную книгу. Я знала, всегда знала: в один прекрасный день старение замедлится и возобновится обычный ход вещей. Знакомые, видевшие меня семнадцатилетней во время моей поездки во Францию, были поражены при новой встрече два года спустя, когда мне исполнилось девятнадцать. Вот это новое лицо у меня и осталось. Оно стало моим лицом. Конечно, оно еще постарело, но куда меньше, чем можно было ожидать. Мое лицо иссечено глубокими морщинами, кожа сухая и потрескавшаяся. Оно не обрюзгло, как некоторые лица с тонкими чертами, но порода, из которой оно состоит, разрушилась. У меня разрушенное лицо.

А пока мне пятнадцать с половиной лет.

Я еду на пароме через Меконг.

Этот образ так и стоит у меня перед глазами все время, пока паром пересекает реку.

Мне пятнадцать с половиной лет, и я живу в краю, где нет времен года, где всегда лето — жаркое, тягучее, однообразное: я живу в теплом краю, где нет весны, нет обновления.

Я в государственном пансионе в Сайгоне. В пансионе я только ем и ночую, а учусь во фран-

цузском лицее. Моя мать, учительница, хочет, чтобы дочь получила среднее образование. Тебе необходимо среднее образование, малышка. Но того, что было хорошо для нее, уже недостаточно для дочки. Сначала среднее образование, а потом конкурс на место преподавательницы математики в лицее. Всегда одна и та же песня, с тех пор, как я пошла в школу. Я никогда и не представляла, что мне удастся избежать математики, я была счастлива — пускай мать хоть на что-то надеется. Я видела, как она день за днем устраивает будущее своих детей и свое собственное. Однако настал день, когда она не могла уже строить грандиозные планы для сыновей, и тогда появились другие проекты, она изобретала новые варианты, но они отвечали все той же цели — заполнить, обеспечить наше будущее. Помню, она говорила о бухгалтерских курсах для младшего брата. И об Универсальной школе — каждый год, с самого детства. Надо наверстать упущенное, говорила мать. Это продолжалось три дня, не больше. Не больше. Потом мы переезжали, и разговоры об Универсальной школе прекращались. На новом месте все начиналось сначала. Мать продержалась десять лет. Ничто не могло ее сломить. Младший брат стал скромным

бухгалтером в Сайгоне. Школы Виоле[1] в колониях не было, поэтому старшему брату пришлось отправиться во Францию. Он жил там несколько лет, якобы посещая школу Виоле. Но на самом деле не учился. Я думаю, мать об этом знала — ее не проведешь. Но у нее не было другого выхода — следовало во что бы то ни стало отлучить этого сына от двух других детей. На несколько лет он выпал из семейного круга. А мать в его отсутствие купила концессию. Ужасная затея, но у нас, двух оставшихся детей, больший ужас вызвал бы, наверное, только вечно маячащий под окнами убийца, убийца детей, бандит с большой дороги, подстерегающий жертву в ночи.

Мне часто говорили: ты выросла под слишком жарким солнцем, в этом все дело. Но я не верила. Говорили еще: дети, растущие в нищете, рано начинают задумываться. Нет, и это не совсем так. Я видела в колониях опухших от голода детей, похожих на маленьких старичков, но мы-то — нет, мы не голодали, мы были — белые дети; нас мучил стыд, ибо порой приходилось продавать мебель, но мы не голодали; у нас был бой-слуга,

[1] Примечания: 1

Школа Виоле — высшее привилегированное учебное заведение (Франция). *(Здесь и далее прим. перев.)*

и ели мы — да, надо признаться, иногда мы ели всякую гадость, жесткое, невкусное мясо птиц или даже кайманчиков, но его готовил бой, а иногда мы отказывались есть, могли позволить себе такую роскошь — отказаться от еды. Нет, когда мне было восемнадцать лёт, что-то произошло, и мое лицо разительно изменилось. Должно быть, ночью. Я боялась самой себя, Бога. Днем я боялась не так сильно, и смерть не казалась мне столь устрашающей. Но и днем мысли о смерти не оставляли меня. Я хотела убить, убить старшего брата, да, я хотела его убить, раз в жизни одержать над ним верх и потом смотреть, как он будет умирать. Я должна была отнять у матери предмет ее любви, наказать ее за то, что она любила его столь неистово и напрасно, а главное, я должна была спасти младшего брата, моего малыша, спасти его от гнета чужой жизни, слишком живой жизни старшего, не дававшей младшему жить, спасти от мрака, заслонявшего ему свет, преступить закон, провозглашенный старшим братом и воплощенный в нем, зверский закон, воплощенный в человеке, превращавший каждый миг существования младшего в сплошной ужас, в ужас перед жизнью, И вот однажды ужас добрался до самого сердца и убил мальчика.

Я и раньше много писала о моей семье, но тогда и мать, и братья были еще живы, и я могла только кружить вокруг да около, не доходя до сути.

Истории моей жизни нет. Ее не существует. Никогда не было исходной точки. Нет и жизненного пути, четко прочерченной линии. Только обширные пространства, и хочется, чтобы все поверили, будто там кто-то есть, но это неправда, там нет никого. Я уже описала более или менее подробно историю моей юности, вернее, ничтожно малой ее части, но по ней можно о чем-то догадаться — я имею в виду переправу на пароме через реку. То, что я делаю сейчас, — и похоже на прежнее, и непохоже. Раньше я говорила только о светлых, вернее, озаренных светом периодах моей юности. Сейчас говорю об оставшемся в тени, о скрытом в той же самой юности, открываю вам вещи, чувства, события, о которых раньше умалчивала. Когда я начала писать, моя среда волей-неволей навязывала мне стыдливость. Окружавшие меня люди считали писательский труд все же нравственным занятием. Теперь мне часто кажется, что писать вообще бессмысленно. Иногда я отчетливо понимаю: да, писать бессмысленно, разве только хочется потешить свое тщеславие или просто плыть по течению. Да, наверное, и еще ра-

ди того, чему я не подберу названия, быть может, хочется предать огласке собственную жизнь.

Но чаще я не задумываюсь о причине, вижу пространство, открытое на все четыре стороны, безо всяких стен, и то, что я пишу, все равно не скрыть, не спрятать, и, когда написанное мной прочтут, обнажится вся неуместность текста, даже непристойность, — но дальше я не думаю.

Теперь я вижу: в юности, в восемнадцать лет, даже в пятнадцать мое лицо уже обещало стать таким, каким стало в зрелые годы, когда я много пила. Алкоголь сделал со мной то, чего не сделал Господь Бог, а потом убил меня, вернее, медленно убивал. Но лицо мое состарилось еще до того, как я начала пить. Алкоголь только закрепил эти черты. Как будто во мне угнездился порок — я знала, — но на удивление рано. Так же гнездилось во мне и плотское желание. В пятнадцать лет на моем лице была написана чувственность, хотя я еще не знала наслаждений плоти. Это выражение лица ни от кого нельзя было скрыть. Даже мать, должно быть, замечала его. И братья видели. Вот так все и началось у меня, началось с лица — слишком яркого, утомленного, с запавших глаз, и лицо сложилось преждевременно, до познания.

Мне пятнадцать с половиной. Переезжаю на пароме через реку. Я возвращаюсь в Сайгон — для меня это целое путешествие, особенно если я еду автобусом. В то утро я, как обычно, села в автобус в Шадеке — там работает моя мать, она директор женской школы. Кончаются каникулы, уже не помню какие. Я провела их в маленьком домике при школе, где живет мать.

И вот возвращаюсь в свой пансион в Сайгоне. Автобус для местных жителей отправляется с рыночной площади Шадека. Мать снова провожает меня до автобуса и вверяет заботам шофера — она всегда вверяет меня заботам шофера на случай аварии, пожара, попытки изнасилования, бандитского нападения или поломки парома. Шофер, как всегда, сажает меня впереди, рядом с собой — тут место для белых.

Во время путешествия вырисовывается этот образ. Он мог бы стать отчетливее. Мог бы существовать, кто-нибудь мог сфотографировать девушку, как фотографировали ее в другое время, при других обстоятельствах. Но такого снимка нет. Кому пришло бы в голову ее фотографировать? Если бы кто-нибудь знал, какую роль сыграет в моей жизни это путешествие, этот переезд через реку! Но тогда никто ничего не знал.

Никто, кроме Бога. Потому-то моего образа — и как могло быть иначе? — не существует. Его нет. Он забыт. Неотчетлив. И поэтому незабываем: он воплощает в себе абсолют и сам создает его.

Итак, я пересекаю один из рукавов Меконга на пароме, следующем из Шадека в Виньлонг, а вокруг расстилается широкая долина, покрытая илом, и рисовые плантации — это южная часть Кохинхина, Долина птиц.

Я выхожу из автобуса. Облокачиваюсь о парапет. Смотрю на реку. Мать говорит мне иногда, что больше я не увижу в жизни таких красивых рек, таких широких, необузданных, как Меконг и его рукава, бегущие к океану, — потоки, которые сгинут в океанских глубинах. Ровная долина тянется насколько хватает глаз, а течение быстрое, словно земля наклонна.

Когда автобус въезжает на паром, я каждый раз выхожу, потому что мне страшно, боюсь, канаты не выдержат и нас понесет к морю. Вглядываясь в стремительное течение, я словно вижу последние минуты моей жизни. Такое течение унесет все что угодно — камень, башню, целый город. В толще вод бушует буря. Там бьется ураган.

На мне поношенное шелковое платье, едва ли не прозрачное от времени. Раньше это платье

носила мать, но она перестала его надевать — слишком оно светлое — и отдала мне. Платье без рукавов, с глубоким вырезом. Блекло-желтоватого цвета — таким становится натуральный шелк от долгой носки. Я хорошо помню это платье. И всегда считала, что оно мне очень идет. Я подпоясалась кожаным поясом, — должно быть, это пояс одного из моих братьев. Не могу припомнить, какие туфли я носила в те годы, помню только некоторые платья. Кажется, большую часть времени я ходила в полотняных сандалиях на босу ногу, пока не поступила в лицей в Сайгоне. После, естественно, стала носить туфли. В тот день у меня на ногах, наверное, были туфельки из золотой парчи на высоких каблуках. Не представляю, что еще я могла бы надеть, значит, на мне те самые туфельки. Мать купила их на распродаже уцененных вещей. Когда я иду в лицей, надеваю туфельки из золотой парчи. Да, я хожу в лицей в туфельках, расшитых золотом и украшенных маленькими стразами. Мне так хочется. Я себе нравлюсь только в этих туфельках, даже сейчас я представляю себя в них; первые в моей жизни туфли на каблуках, очень красивые, затмили прежнюю обувь, все белые полотняные сандалии, в которых так удобно было бегать и играть.

Но туфельки — не самое странное и необычное в облике девушки на пароме. Удивительно вот что: в тот день на ней мужская шляпа — с плоскими полями, мягкая фетровая шляпа цвета розового дерева, с широкой черной лентой.

Шляпа — последний штрих к этому образу, именно она придает ему явную неоднозначность.

Не помню, как попала ко мне эта шляпа. Даже не представляю, кто мог мне ее подарить. Кажется, ее купила мать и, кажется, по моей просьбе. Единственное, в чем я уверена, — на дешевой распродаже. Почему мы ее купили? Ни женщины, ни девушки в колониях не носили в то время мужских шляп. Местные женщины тоже. Вот как, наверное, было: я примерила шляпу просто так, смеху ради, глянула в висевшее в лавке зеркало и увидела, что мое худое лицо и угловатая фигура вдруг преобразились, перестали быть досадными природными недостатками и сделались, наоборот, чудесными дарами, полученными от природы. Я вдруг поняла, что они желанны. Словно увидела себя со стороны — незнакомку, доступную любому, открытую всем взглядам, в городах, на дорогах, на перекрестках — и желанную. Шляпа моя, я ношу ее не снимая, я владею

шляпой, которая создает мой образ, и отныне я всегда буду носить ее. Наверное, и с туфельками было что-то похожее, но уже после шляпы. Они не идут к шляпе, но ведь и шляпа не идет к детской фигурке, а значит, они для меня хороши. Я больше не расстаюсь с ними, теперь я всюду хожу в этих туфельках и в этой шляпе — в любую погоду, в любое время, я хожу в них в город.

Я нашла фотографию моего сына, ему двадцать лет, он снят в Калифорнии с Эрикой и Элизабет Леннард, своими приятельницами. Он жутко тощий, как и я тогда. У него надменная улыбка, — похоже, он посмеивается надо всем на свете. Ему хочется походить на юного бродягу. Он нравится себе в этой роли — худой, долговязый, слегка несуразный. Юноша со снимка больше всего похож на ту девочку на пароме, которую так никто и не сфотографировал.

А вот и та, что купила мне розовую шляпу с плоскими полями и широкой черной лентой, вот она, женщина со старой фотографии, — моя мать. Здесь она больше похожа на себя, чем на недавних снимках. Вот двор нашего дома на берегу озера близ Ханоя. Мы все вместе — она и мы, дети. Мне четыре года. Мать в центре снимка. Я вижу: она напряженно держится, не улыбается, ждет

— скорее бы щелкнул фотоаппарат. По ее осунувшемуся лицу, по тому, как небрежно она одета, по сонному взгляду я догадываюсь — жарко, она устала, и ей тоскливо. А по тому, как одеты мы, дети, какой у нас жалкий вид, я понимаю: мать в очередной раз впала в то самое состояние. Это случалось с ней нередко, и мы уже тогда, детьми, видели предзнаменования: она будто бы разом теряла все силы и не могла больше ни умывать нас, ни одевать, ни даже кормить. Полный упадок духа, изо дня в день. Правда, иногда к ночи проходило. Да, вот уж повезло — у меня была отчаявшаяся мать. Ее отчаяние было столь глубоко, что вся полнота и радость жизни не могли его рассеять. Не знаю, по каким именно причинам она ежедневно погружалась в эту пучину и отгораживалась от нас. Может быть, сейчас дело в том, что она совершила эту глупость — купила дом, вот он, на снимке, совершенно ненужный нам: ведь отец уже тяжело болен, он умрет через несколько месяцев. А может быть, ей сказали, что она тоже больна болезнью, от которой скоро умрет отец? Судя по дате, похоже. Я не знаю, да она, наверное, и сама не знала, почему ее вдруг охватывала такая безнадежность, такое отчаяние. Уже близкая смерть отца или просто

угасание дня? Разочарование в своем браке? В детях? В муже? Или во всем на свете?

Это повторялось каждый день. Я помню точно. Должно быть, на нее находило внезапно. Каждый день ни с того ни с сего накатывало отчаяние. И она не могла больше ничего делать, или ей просто хотелось спать, или, наоборот, хотелось покупать дома, переезжать, а то она просто бывала в плохом настроении, всего-навсего в унынии, а иногда вела себя как королева — дарила все, что у нее просили, принимала все, что предлагали: дом на берегу озера — непонятно, зачем он нам, ведь отец умирает, или шляпу с плоскими полями — малышке так ее хотелось, или золотые туфельки, или еще что-нибудь в этом роде. Или — ничего, или — уснуть. Умереть.

Я никогда не видела фильмов, где индианки носят такие же шляпы с плоскими полями и косы, перекинутые на грудь. Сегодня я тоже заплела косы, против обыкновения не заколов их. Однако они не такие, как в кино. Две длинные косы перекинуты на грудь, как у индианок, которых я никогда не видела, но это детские косы. Получив в подарок шляпу, я перестала закалывать волосы — неудобно. Теперь я с силой стягиваю их, зачесываю назад, приглаживаю, чтобы не выбивались.

Каждый вечер перед сном расчесываю их, заплетаю косы, как учила меня мать. Волосы тяжелые, вьющиеся, расчесывать их больно; медно-рыжая масса спускается ниже пояса. Мне часто говорят: волосы — лучшее, что у тебя есть, и я понимаю, подразумевается — я некрасива. Я остригу свои чудесные волосы, когда мне будет двадцать три, в Париже, через пять лет после окончательного разрыва с матерью. Я сказала: режьте. И парикмахер стал резать. Сперва начерно, одним махом; я почувствовала, как ножницы холодят шею. Волосы упали на пол. Меня спросили, не возьму ли я их, предложили завернуть. Я отказалась. С тех пор никто не говорил, что у меня красивые волосы, то есть о них вообще не упоминали, как бывало раньше, прежде чем я остриглась. С тех пор говорили: у нее красивые глаза. И приятная улыбка.

Но вот посмотрите, я на пароме, и пока у меня длинные волосы. Мне пятнадцать с половиной. Я уже крашусь. Мажу лицо кремом «Токалон», чтобы скрыть веснушки на щеках, под глазами. Поверх крема кладу пудру телесного цвета марки «Убиган». Это пудра моей матери, она пользуется ею, когда ходит на приемы в Главное управление. Сегодня у меня и губы накрашены — темно-виш-

невой помадой. Не знаю, где я ее взяла, может быть, Элен Лагонель стащила у своей матери, не помню. Я не душусь — у нас есть только одеколон и мыло «Пальмолив».

На пароме рядом с автобусом стоит большой черный лимузин. За рулем — шофер в белой ливрее. Да, это черный, похожий на катафалк автомобиль из моих книг. Марки «Моррис Леон-Болле». Черная «Ланчиа» посла Франции в Калькутте еще не попала в литературу.

Между шофером и пассажирами — стеклянная перегородка. Есть еще откидные сиденья. Внутри просторно, как в комнате.

В лимузине сидит элегантный мужчина и смотрит на меня. Не белый, но одет по-европейски — в легкий светлый костюм, какие носят банкиры в Сайгоне. Он так и ест меня глазами. Впрочем, на белых девушек в колониях всегда смотрят, даже на двенадцатилетних девочек. Последние три года я замечаю, что и белые мужчины на меня смотрят, оглядываются на улице, а друзья матери любезно просят зайти к ним выпить чаю, пока их жены играют в теннис в спортивном клубе.

Я могла бы ошибиться, решить, будто я тоже

красива, как женщины, на которых оглядываются, как красивые женщины — ведь на меня действительно оглядываются многие. Но я-то знаю, дело тут не в красоте, а в чем-то другом, да, в другом. Быть может, это особый дар: я кажусь такой, какой мне хочется казаться, и красивой — если надо, чтобы я была красивой, и хорошенькой — для семьи, только для семьи, не более того, я всегда могу сделаться такой, какой окружающие хотят меня видеть. И поверю, что это действительно я. Поверю, что очаровательна. И едва поверю, стану для человека такой, какую ему хочется видеть, это ясно. Очаровательной я буду даже при мыслях о смерти, об убийстве старшего брата. Эта смерть касается только матери. Я говорю: «очаровательная», как говорили взрослые при мне, при нас, детях.

Я уже не ребенок. Мне кое-что известно. Известно, что женщину делают красивой не платья, не косметика, не дорогие кремы, не редкие, изысканные туалеты. Я знаю, дело не в этом. Но в чем — не знаю. Знаю только: все женщины не там ищут. На улицах Сайгона, в факториях среди джунглей я видела много белых женщин. Есть очень красивые, белокожие, здесь они заботятся о своей красоте больше, чем где бы то ни было,

особенно те, что живут в факториях. И ничего не делают, занимаются только собой; берегут себя для Европы, для белых любовников, для отдыха в Италии, для долгого отпуска — шесть месяцев раз в три года, когда они смогут наконец рассказать знакомым о том, как им живется здесь, рассказать о загадке жизни в колониях, о том, как работают их мужья, о своих расторопных слугах-боях, о буйной зелени, о балах, белых виллах — таких огромных, что там можно заблудиться, — где живут служащие самых отдаленных факторий. Женщины ждут. Носят грошовые платья. Смотрятся в зеркала. В полумраке белых вилл они подолгу смотрятся в зеркала, думая о будущем и чувствуя себя героинями романов, а их гардеробы набиты ненадеванными платьями, они нанизывают платья на вешалку, как на нить времени один за другим — долгие дни ожидания. Некоторые сходят с ума. Иногда их мужья гуляют с молоденькими служанками, которые умеют держать язык за зубами. Гуляют. Словечко припечатывает звонко, будто пощечина. Некоторые кончают счеты с жизнью.

Эти женщины не удовлетворены собой и сами в этом виноваты: я всегда знала, в чем их главная ошибка.

Нельзя вызвать желание. Либо оно есть в женщине, либо нет. Его видишь с первого взгляда — или же понимаешь, что его нет и не было. Сразу чувствуется в женщине сексуальная привлекательность или ее отсутствие. И это тоже пришло ко мне еще до познания.

Одна только Элен Лагонель избежала ошибки. Она навсегда застряла в детстве.

У меня долго не было своих платьев. Все мои платья похожи на мешки — они перешиты из старых платьев матери, тоже похожих на мешки. Правда, кроме тех, что сшила мне До. До — это наша экономка. Она не покинет мать, даже когда та вернется во Францию, даже когда в Шадеке мой старший брат попытается изнасиловать До в домике при школе и даже когда матери нечем будет ей платить. До воспитывалась в миссии монахинь; она умеет вышивать и закладывать складки, она шьет, как не шьют уже несколько столетий, иголкой не толще волоса. До искусна в вышивке, и мать велит ей вышивать простыни и покрывала. Она хорошо закладывает складки и по просьбе матери шьет для меня платья с плиссированными юбками и платья с воланами, они все равно сидят на мне мешком, таких платьев

давно никто не носит, они слишком детские: два ряда складок спереди и отложной воротничок, или кофта с баской, или косые воланы, «как носят в Париже». И я ношу эти платья, как мешки, подпоясываюсь ремнем, отчего они окончательно теряют форму, и сносу им нет.

Пятнадцать с половиной лет. Тело худенькое, почти тщедушное, еще детские груди, бледно-розовая пудра и яркая помада. И наряд, который мог бы вызвать смех, однако никто над ним не смеется. Я знаю: в этом я вся. Пока ничего не ясно, но в моем образе уже есть все, чему суждено сбыться, я вижу это по глазам людей, в их глазах — моя судьба. Я хочу писать. Я уже сказала матери: единственное, чего я хочу, — это писать. Сначала она не ответила. Потом спросила: что писать? Книги, романы, сказала я. Она ответила, как отрезала: выдержишь конкурс на место преподавателя математики, тогда пиши, если хочешь, меня это не касается. Она — против, это недостойное занятие, ну, разве это работа? Так, забава, позже она скажет: ребяческие бредни.

Девочку в фетровой шляпе освещают солнечные блики, играющее на поверхности мутной воды, она стоит одна на палубе, облокотясь о

перила. От ее мужской шляпы словно падает розовый отсвет на все вокруг. Других красок нет. Подернутое дымкой солнце над рекой, такое жаркое солнце, берега тоже в дымке, река уходит куда-то за горизонт. Она течет беззвучно, без малейшего шума, как кровь в жилах. Ни ветерка над водой. Единственный звук — шум мотора старого парового двигателя, который вечно барахлит. Время от времени словно бы порыв ветра доносит голоса. И еще — лай собак, отовсюду, из тумана, из всех деревень. Девочка знает паромщика с детства. Он улыбается ей и спрашивает: а как поживает госпожа директриса? Говорит, что часто видит ее по вечерам, когда она едет в Камбоджу на свою плотину. У мамы все в порядке, отвечает девочка. За бортом — река, она течет вровень с берегами, над стоячей водой рисовых полей, но их воды не смешиваются с ней. Река несет все попавшееся ей по дороге от самого Тонлесапа, от камбоджийских лесов. Она уносит что попало: останки соломенных хижин, стволы деревьев, головешки — следы пожаров, дохлых птиц, дохлых собак, тигров, буйволов, утопленников, бог знает что еще, островки водяных цветов — все плывет к Тихому океану, не успевая утонуть, все уносит бушующая в глубинах буря, невидимое, но голо-

вокружительно быстрое течение, все уплывает вниз по реке.

Я ответила ей: единственное, чего я хочу в жизни, — писать, писать и только, больше ничего. Знаю — она ревнует. Ничего не сказала, быстро взглянула — и тут же отвела глаза, слегка пожала плечами, никогда не забуду. Я уйду от нее первой. Но пройдет еще несколько лет, прежде чем она окончательно потеряет меня, потеряет свою девочку, дочку. За сыновей она может не бояться. Но дочь в один прекрасный день уйдет, сумеет вырваться, и мать это знает. Девочка — лучшая в классе по французскому языку. Директор лицея говорит: ваша дочь, сударыня, лучшая ученица по французскому. Мать ничего не отвечает, ничего, она не рада, ведь это не сыновья лучшие по французскому, вот досада-то, и моя мать, любовь моя, спрашивает: а по математике? Ей говорят: пока нет, но это придет. Мать снова спрашивает: когда? Ей отвечают: когда она сама захочет, сударыня.

Мать, любовь моя, до чего же она нелепа в бумажных чулках, заштопанных руками До, — здесь, в тропиках, она еще носит чулки, чтобы выглядеть настоящей дамой, директрисой шко-

лы; а эти ее жалкие платья, бесформенные; чиненые-перечиненые верной До — мать, похоже, только что покинула свою родную ферму в Пикардии, где у нее полным-полно кузин, она изнашивает платья до лохмотьев, считает, что все нужно заработать, все, а туфли, ее туфли — совсем стоптанные, ей неудобно ходить, она ставит ноги как-то боком, а волосы гладко зачёсаны и стянуты в пучок, как у китаянок, — нам стыдно за нее, мне стыдно, когда я вижу ее на улице перед лицеем — она подъезжает в своем «Б-12» и все смотрят на нее, все, а она никогда ничего не замечает, ничего, ну хоть запирай ее, хоть бей, хоть убей. Она смотрит на меня и говорит: ты, может быть, выпутаешься. Вот ее неотступные думы, ее идея-фикс. Не важно, достигнешь ли ты чего-нибудь, важно вырваться из этих пут.

Когда отчаяние отступает и мать снова вздохнет посвободнее, она замечает мою мужскую шляпу и золотые туфельки. Спрашивает: а это что еще? Ничего особенного, отвечаю я. Она внимательно смотрит на меня и улыбается: ей нравится мой наряд. Недурно, говорит мать, очень даже недурно, ты сразу так изменилась. Она не спрашивает меня, кто все это купил: кому же, кроме нее. Знает, это на нее похоже, когда на нее на-

ходит, можно выпросить все что угодно, и она не откажет. Я говорю: с распродажи уцененных вещей на улице Катина. Мать ласково смотрит на меня. У девочки богатая фантазия, думает она, совсем неплохо — надо же придумать так одеться. Мать не только позволяет мне носить шутовской, почти неприличный наряд, она, сама одетая как вдова, как монашка, в душе даже одобряет это неприличие.

От нашей нищеты никуда не денешься, о ней напоминает и мужская шляпа — ведь мы нуждаемся, и не важно, каким путем придут в дом деньги, так или иначе, без них нельзя. А матери не на что рассчитывать, вокруг — пустыня, от сыновей ждать нечего, нет смысла, и от солончаков тоже. Деньги потрачены впустую, это конец. Последняя надежда на малышку; девочка растет, и, быть может, когда-нибудь благодаря ей в доме и появятся деньги. Поэтому, сама того не сознавая, мать позволяет девочке ходить в наряде маленькой проститутки. Поэтому девочка уже прекрасно во всем разбирается, умеет использовать оказанное ей внимание, зная — это поможет добыть денег. А мать понимает и улыбается.

Когда девочке захочется денег, мать не будет ей мешать. Дочь скажет, я попросила у него пять

тысяч пиастров, чтобы уехать во Францию. Мать ответит: да, на эти деньги ты сможешь устроиться в Париже. Да, скажет она, пять тысяч пиастров — то, что нужно. Девочка знает, что делает, мать и сама посоветовала бы ей так поступить, если бы осмелилась, если бы хватило сил, вот только думать об этом изо дня в день так больно, так нестерпимо больно.

Я уже писала в книгах о моем детстве, но почему-то не могу вспомнить, о чем умолчала, о чем рассказала: кажется, я писала о том, как мы все любили мать, но не помню, говорила ли я, как мы ненавидели ее, как мы все любили друг друга, и эта история — о разрушении и смерти, — история нашей семьи, где живы и любовь и ненависть, и я еще не могу постичь всего умом, истина пока недоступна моему пониманию, ибо прячется где-то внутри меня самой, истина слепая, как новорожденный младенец. Да, за порогом ее начинается молчание. Там действительно царит молчание, и я неустанно буду вслушиваться в него. Эти одержимые дети так и стоят у меня перед глазами, но я не могу приблизиться к тайне. Я всю жизнь думала, что пишу, но не писала, думала, что люблю, но не любила, всю свою жизнь я только ждала перед закрытой дверью.

В тот день, когда я переезжаю через Меконг, когда на пароме стоит черный лимузин, мать еще не отказалась от концессии на плотину. Время от времени мы еще бываем там, как раньше, втроем: выезжаем поздно вечером и остаемся на несколько дней. Мы сидим на веранде нашего бунгало и смотрим на гору Сиам. Потом уезжаем обратно. Матери нечего больше там делать, но она то и дело ездит туда. Мы с младшим братом сидим рядом с ней на веранде, лицом к лесу. Мы уже большие, мы не купаемся в озере, не играем в охоту на черную пантеру в болотах близ устья реки, не ходим ни в лес, ни в деревни, где выращивают перец. Все вокруг нас тоже стало другим. Нет уже ребятишек на буйволах, нет ни у реки, ни в деревнях. Нами овладело то же странное состояние, мы погрузились в оцепенение, как и мать. Мы ничему не научились, только смотреть на лес, и ждать, и плакать. Земли в низине окончательно загублены, а наверху слуги еще возделывают какие-то клочки; мы оставляем им жалкий урожай риса, и они живут здесь, не получая никакой платы, зато в хороших хижинах, которые велела для них выстроить мать. Они любят нас, будто мы одна семья, знают, что должны охранять бунгало, — и охраняют его. Старая посу-

да вся в целости. Прогнившая от дождей крыша едва ли не рушится. Но мебель сверкает чистотой. И бунгало стоит, его видно с дороги, четко, как на картинке. Каждый день двери открывают, чтобы ветерок подсушил отсыревшее дерево. И каждый вечер запирают, чтобы в дом не забрели собаки или контрабандисты, скрывающиеся в горах.

Вот, значит, я познакомилась с богатым мужчиной, владельцем черного лимузина, не в кафетерии в Реаме, через два или три года после того, как мы потеряли концессию. Так я писала, но на самом деле это произошло на пароме, в день, о котором я сейчас рассказываю, под жарким солнцем, подернутым дымкой.

Через полтора года после этой встречи мать вернется с нами во Францию. Она продаст всю мебель. И в последний раз поедет на плотину. Сядет на веранде лицом к заходящему солнцу, и мы в последний раз посмотрим на Сиам, в последний раз, больше этого не будет, даже когда она снова уедет из Франции и вздумает вернуться в Индокитай, чтобы получить пенсию в Сайгоне, она уже не вернется к этой горе, к желто-зеленому закатному небу над лесом.

Надо еще сказать, что под старость мать снова

начала работать. Она открыла школу французского языка, «Новую французскую школу», — это позволило ей частично оплачивать мою учебу и до конца своих дней кормить старшего сына.

Младший брат умер — сгорел в три дня от бронхопневмонии, сердце не выдержало. Вот тогда я и рассталась с матерью. Это случилось во время японской оккупации. Все было кончено. Я больше никогда не задавала ей вопросов ни о нашем детстве, ни о ней самой. Для меня она умерла вместе с младшим братом. И старший брат тоже. Мне так и не удалось превозмочь ужас, который вдруг обуял меня. И мне больше нет до них дела. С тех пор я не желаю ничего о них знать. Понятия не имею, как мать ухитрилась заплатить все долги ростовщикам; просто однажды они не пришли. Так и вижу их перед собой. Они сидят в маленькой гостиной нашего дома в Шадеке, в белых набедренных повязках, ни слова не говорят и сидят так месяцами, годами. Я слышу, как мать плачет и бранится в своей комнате, не хочет выходить, кричит: оставьте меня в покое, — но они будто не слышат, сидят спокойно, улыбаются и не уходят. А потом в один прекрасный день их словно ветром сдуло. И мать, и оба брата уже умерли. Вспоминать тоже слишком поздно. Я не

люблю их больше. Не знаю даже, любила ли когда-нибудь. Я рассталась с ними навсегда. Память не сохранила ни запаха кожи, ни цвета глаз. Я не помню голоса матери, разве только одно — как тихо она говорила, когда под вечер ее одолевала усталость. Ее смеха я не помню, и криков тоже. Все кончено, не помню ничего. Поэтому мне так легко сегодня писать о ней — выходит так длинно, так подробно: она попросту обратилась в беглый почерк.

Мать жила в Сайгоне с 1932 по 1949 год. В декабре 1942 года умер младший брат. Она уже не могла сдвинуться с места. И осталась там, у его могилы, как говорила сама. Но потом все же вернулась во Францию. Мы встретились, когда моему сыну исполнилось два года. Слишком поздно, чтобы вновь обрести друг друга. Обе поняли это с первого взгляда. Что там было обретать? Она всецело принадлежала старшему сыну, остальному давно пришел конец. Она поселилась в департаменте Шер-и-Луара, в замке «под Людовика XV», там и умерла. С ней жила До. Мать все еще боялась ночи. Она купила ружье. До охраняла ее сон, сидя с ружьем в мансарде под крышей. Еще мать купила для старшего сына участок земли возле Амбуаз. Там были леса, он велел их срубить на

продажу. И пошел играть в баккара в парижском ночном клубе. Все леса он проиграл в одну ночь. Вот это воспоминание, похоже, волнует меня: до слез жалко старшего брата, проигравшего деньги за лес. Я знаю, что утром его нашли на Монпарнасе, у кафе «Купель»: он лежал в своей машине и говорил, что хочет умереть. Как было дальше, не знаю. Но мать — невозможно вообразить, что она сделала со своим замком, и все для старшего сына, для своего ребенка, который в пятьдесят лет не научился зарабатывать деньги. Купила электрический инкубатор и установила его в большой гостиной на первом этаже. Вылупилось сразу шестьсот цыплят — сорок квадратных метров живой, копошащейся массы. Она не сумела как следует отрегулировать обогрев, цыплята вылупились слишком рано, ни один не мог есть. Шестьсот цыплят с разинутыми, незакрывающимися клювами, все умрут от голода; больше она не будет связываться с инкубатором. Я приехала в замок, когда они вылупились, — это был настоящий праздник. А потом — дохлые цыплята и несъеденный корм так воняют, что просто невозможно есть в этом замке, к горлу подступает тошнота.

С ней были До и ее сын, которого она называла

«дитя мое», она умерла в большой комнате на втором этаже, куда пускала на ночь баранов, четыре-шесть баранов лежали у ее постели в морозные ночи, в последние зимы.

Здесь, в своем последнем доме на берегу Луары, когда она наконец успокоилась и перестала ездить туда-сюда, когда пришел конец этой семье, я впервые в жизни отчетливо увидела безумие. Увидела, что моя мать совершенно безумна. Я поняла: До и старший брат всегда знали об этом. А я нет. Мне никогда не приходило в голову, будто мать безумна. Она такая от рождения. Это у нее в крови. Безумие было для нее не болезнью, а нормальным состоянием. Она жила, полагаясь на До и старшего сына. Никто больше и представления об этом не имел. У нее всегда было много друзей, дружбу она хранила долгие годы, и в то же время появлялись новые знакомые, часто совсем молодые люди, приезжавшие служить в фактории в джунглях, да и потом, в Турени тоже — среди них было много отставных колониальных чиновников. Люди всегда тянулись к ней, независимо от ее возраста, их привлекал ее ум — такой живой ум, говорили они, ее веселость, естественный нрав, не покинувшие ее и в старости.

Я не знаю, кто сделал снимок, на котором так

ясно видно отчаяние. Тот, где мы во дворе дома в Ханое. Может быть, отец щелкнул фотоаппаратом в последний раз. Через несколько месяцев его отзовут во Францию — по состоянию здоровья. Перед этим он получит новое назначение — в Пномпень. И пробудет там несколько недель. Жить ему осталось меньше года. Мать откажется последовать за ним во Францию, останется там, куда мы переедем, не сдвинется с места из Пномпеня, из великолепной резиденции на берегу Меконга, в бывшем дворце камбоджийского короля, посреди огромного парка, растянувшегося на много гектаров, где матери всегда страшно. Ночью мы сами ее боимся. Спим вчетвером в одной постели. Мать говорит: я боюсь ночи. В этом дворце она узнает о смерти отца. Узнает до прихода телеграммы, как только увидит знак и поймет его, увидит птицу, которая среди ночи будет, обезумев, метаться и биться в большом кабинете в северной части дома — дома моего отца. А еще за несколько дней до смерти мужа мать увидит призрак отца — своего отца. Она зажигает свет. Он здесь. Стоит у стола в большой восьмиугольной гостиной. Смотрит на нее. Я помню крик, помню, как она звала на помощь. Она разбудила нас, рассказала про призрак, рассказа-

ла даже, как он был одет — в серый праздничный костюм, как стоял и смотрел ей в глаза. Она говорит: я позвала его, словно раньше, в детстве. И совсем не испугалась. Бросилась к призраку, и тут он исчез. Оба, отец и дед, умерли в дни и часы, когда появлялись птицы и призраки. Наверное, поэтому мы так восхищались матерью — она знала все на свете, даже смерть.

Элегантно одетый мужчина вышел из черного автомобиля и закурил английскую сигарету. Он смотрит на девушку в мужской фетровой шляпе и золотых туфельках. Медленно приближается к ней. Заметно, что он смущен. Сначала даже не улыбается, только предлагает ей сигарету. Пальцы его слегка дрожат. Между ними преграда — ведь он не белый, он должен еще преодолеть этот барьер, потому его и бьет нервная дрожь. Она отвечает, что не курит: нет, благодарю вас. И ничего больше, не просит оставить ее в покое. Теперь ему уже не так страшно. И он говорит ей: это словно чудесный сон. Она не отвечает. Действительно, стоит ли отвечать, и что, собственно, она может сказать? Девушка ждет. Тогда он спрашивает: а откуда вы едете? Она объясняет — ее мать преподает в женской школе в Шадеке. Он на минуту задумывается, а затем говорит, что

много слышал о ее матери; надо же, не повезло ей с этой концессией, кажется, в Камбодже, не так ли? Да, правда.

Он повторяет: вот удивительно, встретить вас на этом пароме. В столь ранний час, такая красивая девушка, нет, вы себе не представляете, до чего это неожиданно — белая девушка в автобусе для местных.

Он говорит: шляпа ей идет, очень идет, это даже… ммм… оригинально… мужская шляпа, ну и что? Такая хорошенькая девушка может все себе позволить.

Она смотрит на него. И спрашивает, откуда он. Недавно из Парижа, отвечает он, учился там, а вообще-то тоже живет в Шадеке, на берегу реки, знаете, большой док с террасами, и перила выложены голубой плиткой. Она спрашивает, кто он. Китаец, его родители из Северного Китая, из Фушуня. Позволит ли она отвезти ее в Сайгон? Девушка кивает. Он велит шоферу взять ее вещи из автобуса и отнести их в черный автомобиль.

Китаец. Сын одного из немногих китайских дельцов, которые держат в своих руках все дома, всю недвижимость в колонии. И так случилось, что в тот день молодой человек пересекал Меконг, направляясь в Сайгон.

Она садится в черный автомобиль. Хлопает дверца. Вдруг почему-то возникает смутное чувство потерянности, странной усталости; блеск солнечных лучей на воде слегка потускнел, шума уже не слышно, всю ее будто бы окутал густой туман.

Я больше никогда не сяду в автобус для местных. Отныне в моем распоряжении лимузин, на нем я буду ездить в лицей и возвращаться в пансион. Буду обедать в лучших ресторанах города. И всегда жалеть о том, что я делаю, от чего отказываюсь и что принимаю, и хорошее и плохое, автобус, шофер, с которым мы обменивались шутками, старухи на задних сиденьях, постоянно жующие бетель, детишки — на полках для багажа, моя семья в Шадеке, ужас ее существования и ее неколебимое молчание.

Он продолжал разговор. Сказал, что скучает по Парижу и здесь ему не хватает очаровательных парижанок, свиданий, вечеринок, кутежей — о-ля-ля! — да и «Куполь», и «Ротонды» (лично я, знаете, предпочитаю «Ротонду»), и ночных кабаре, короче — всей этой «шикарной» жизни, которой он жил два года. Она внимательно слушала, вылавливая из сказанного сведения о его

богатстве и прикидывая, сколько же у него может быть миллионов. Он принялся рассказывать о своей семье. Мать давно умерла, он — единственный ребенок. Остался только отец, ему-то и принадлежат все деньги. Но вы знаете, какой он — вот уже десять лет сидит на одном месте, курит трубку с опиумом да глядит на реку, но все равно никогда не выпустит из рук бразды правления. Она говорит: понятно.

Старик не позволит сыну жениться на девушке с белой кожей, на этой маленькой проститутке из Шадека.

Все началось задолго до того, как он решился заговорить с белой девочкой, стоявшей у перил парома; началось, когда он вышел из автомобиля и сделал первый шаг к ней. Она знала — уже тогда знала, что ему страшно.

Да, поняла с первой минуты, и еще поняла: он целиком в ее власти. А значит, и любой другой мужчина может при случае оказаться в ее власти. И еще она поняла: сегодня настало время сделать то, что она обязана сделать. И знать об этом не должны ни ее мать, ни братья. Захлопнувшаяся дверца черного автомобиля отрезала ее от семьи раз и навсегда. Мать и братья не должны отныне знать, что с ней станется. Ее могут отнять у них,

увести, оскорбить, развратить — теперь это не их дело. Это больше не касается ни матери, ни братьев — так суждено. И девочка в черном автомобиле уже готова расплакаться.

Она — дочь и сестренка — будет теперь связана только со своим первым мужчиной, подвернувшимся ей на пароме.

Это случилось очень скоро. Каждый день он встречал ее у дверей лицея и отвозил в пансион. А однажды в четверг после полудня подъехал к пансиону. И увез ее в черном автомобиле.

Они приехали в Шолон. Остановились напротив бульваров, соединяющих китайские кварталы с центром Сайгона. Широкая, словно в Америке, улица кишит трамваями, рикшами, автомобилями. Только что перевалило за полдень. Девушка улизнула с прогулки, обязательной для воспитанниц пансиона.

Квартирка в новом доме в южной части города. Обставлена, можно сказать, на скорую руку, в основном мебелью в стиле «модерн». Он говорит: я не сам выбирал мебель. В кабинете полумрак, но поднять жалюзи она не просит. У нее нет никакого определенного чувства — ненависти или отвращения; но это, наверное, уже и есть желание? Она не знает. Когда он вчера вечером

попросил ее прийти, она сразу же согласилась. Девушка чувствует, что оказалась именно там, где ей следует быть, да, и именно там. Ей немножко страшно, — видно, так и должно быть, так бывает со всеми, почему же не с ней? Она внимательно всматривается, вслушивается, будто впитывает в себя свет и уличный шум, проникающий в комнату. А его бьет дрожь. Сначала он смотрит на нее, словно о ждет, чтобы она заговорила первой, но она молчит. Он тоже не двигается, не пытается раздеть ее и наконец говорит, что любит ее, любит как безумный. Он произносит это тихо-тихо. И опять умолкает. Девушка не отвечает. Она могла бы сказать, что не любит его, но молчит. И вдруг понимает, вот так, сразу, что он не знает ее и никогда не узнает, что он просто не может себе представить такую бездну порочности. И, как ни старайся, ее не покорить, никогда она не будет принадлежать только ему… Она все решает сама. Уже решила. Он-то не знает, но она поняла: тогда, на пароме, он уже нравился ей. Да, он ей нравился, и все теперь зависит только от нее.

Она говорит: было бы лучше, если бы вы меня не любили. Ну ладно, вы любите меня, но все равно ведите себя как с другими женщинами. Он смотрит на нее с ужасом и спрашивает: вы этого

хотите? Она кивает. Ему уже больно, и здесь, в комнате, он впервые не скрывает этого. Он говорит, что она никогда его не полюбит, он уже в этом уверен. Девушка не возражает. Сначала говорит: не знаю. Потом слушает молча.

Он говорит: я так одинок, просто чудовищно одинок со своей любовью. Она отвечает, что тоже одинока. И не продолжает. Он говорит: вы с кем угодно пошли бы так же, как пошли сюда со мной. Откуда мне знать, отвечает она, я еще никогда не ходила с мужчиной к нему домой. Она просит его ничего больше не говорить, хочет, чтобы он все делал как с другими женщинами, которых приводит сюда. Молит только об этом.

Он сорвал с нее платье и отшвырнул, сорвал белые трусики и несет ее, обнаженную, на постель. И там отворачивается к стене и плачет. А она привлекает его к себе тихонько, терпеливо и начинает медленно раздевать. С закрытыми глазами. Медленно-медленно. Он пытается ей помочь. Не шевелись, просит она. Я сама. Я хочу сама, говорит она. И раздевает его. Потом просит повернуться, и он поворачивается на постели, но совсем тихонько, легко-легко, будто боится разбудить ее.

Восхитительно нежная кожа. Его тело. Худое, слабое, лишенное мускулов, словно тело больного или выздоравливающего, безволосое, в нем нет ничего мужского, кроме полового признака, такое хрупкое, незащищенное, страдающее. Она не видит его лица. Не смотрит на него. Только гладит. Гладит нежную оболочку члена, ласкает золотистую кожу, отдается новому, незнакомому ощущению. Он стонет, всхлипывает. Захлебывается своей невыносимой любовью.

И, не переставая плакать, делает это. Сначала ей больно. Но потом боль исчезает, уступает место чему-то другому, медленно покидает ее, тонет в волне наслаждения. Наслаждение окутывает ее.

Словно безбрежное, ни с чем не сравнимое море.

Уже образ девочки на пароме позволял предугадать эту минуту.

Внезапно через комнату проходит призрак женщины в заштопанных чулках. Я наконец вижу ее девочкой. Сыновья и тогда все знали. А дочь — еще нет. Они никогда не будут говорить друг с другом о матери, никогда не поделятся отлучающим их от нее, последним, окончательным известием о детстве матери.

Мать никогда не знала наслаждения.

Я понятия не имела, что от этого идет кровь. Он спрашивает: тебе было больно? Я отвечаю: нет, и он говорит, что счастлив.

Он вытирает кровь, моет меня. Я смотрю, как он это делает. Такое чувство, будто он возвращается ко мне, вновь становится желанным. Я только не понимаю, как у меня хватило сил пойти наперекор запрету матери. Хладнокровно, решительно. Как это мне удалось «довести дело до конца».

Мы смотрим друг на друга. Он целует мою грудь, живот. Спрашивает, почему я пришла. Я говорю: так было нужно, это вроде бы долг. Мы впервые беседуем. Я рассказываю ему о своих братьях. И говорю, что у нас нет денег. Ничего больше нет. Он знает старшего брата, встречал его в курильнях в Шадеке. Я рассказываю: брат крадет у матери деньги на опиум, обворовывает слуг, а иногда хозяева курилен приходят и требуют у матери долги. Потом рассказываю о плотине. Мать умрет, говорю я, она больше не выдержит. Наверное, приближающаяся смерть матери как-то связана с тем, что произошло со мной сегодня.

Я вдруг понимаю, что хочу его.

Ему жаль меня; нет, говорю я, нет, не надо меня жалеть, никого не надо жалеть, кроме моей матери. Он говорит: ты пришла, потому что у

меня есть деньги. Я отвечаю, что хочу его вместе с деньгами, с автомобилем и с деньгами, и откуда мне знать, что бы я сделала, если бы все было иначе. Он говорит: хотел бы тебя увезти, уехать бы вдвоем. Я отвечаю: пока еще не могу покинуть мать, иначе умру с горя. Он вздыхает: не повезло мне с тобой, но я все равно дам тебе денег, не беспокойся. Он снова вытянулся на постели. Мы умолкаем.

Громкий уличный шум врывается в окно, он сохранился в памяти — так в кинофильме слишком громкий звук заглушает все. Я очень хорошо помню: в комнате темно, мы лежим молча, и нас захлестывает шум большого города, комната плывет в этом гуле, погруженная в городскую суету. В окнах нет стекол, только шторы и жалюзи. На шторах мелькают тени людей, идущих мимо по залитым солнцем тротуарам. Огромные толпы людей. От жалюзи на тенях ровные полосы. Стук деревянных башмаков отдается в мозгу, голоса пронзительные, по-китайски можно только кричать, такими я представляю себе языки пустынь, это невероятно чужой мне язык.

День клонится к вечеру, за окном нарастает шум, толпа велика, разноголоса. Ночью городом правят развлечения и удовольствия. Вот сейчас

сядет солнце и наступит ночь.

Нашу кровать отделяют от улицы лишь жалюзи да полотняная штора. Никакой преграды между нами и людьми на улице нет. Но они и не подозревают о нашем существовании. А до нас доносится гул их голосов, звук их шагов, подобный зову сирены, печальный, надломленный голос, которому нет ответа.

В комнату проникают запахи леденцов, поджаренных земляных орехов, китайского супа, жареного мяса, трав, жасмина, пыли, курений, дымок от горящих углей — огонь здесь носят в корзинах и продают на улицах, в городе пахнет деревней, затерянной в джунглях, пахнет лесом.

Я вдруг вижу его в черном шелковом халате. Он сидит в кресле, пьет виски и курит.

Он говорит, что я спала, а он тем временем принял душ. Я и не заметила, как уснула. Он зажигает лампу на низком столике.

И вдруг я думаю о нем: это человек с устойчивыми привычками, он, наверное, довольно часто приходит в эту комнату и много занимается любовью; этого мужчину преследует страх, он занимается любовью с разными женщинами, чтобы одолеть свой страх. Я говорю: мне нравятся думать, что у тебя много женщин, нравится

принадлежать к их числу, ничем не выделяясь. Мы смотрим друг на друга. До него доходит смысл сказанного. Взгляд сразу становится другим, глаза мутнеют, в них — боль, смерть.

Я прошу: иди ко мне, возьми меня опять. Он подходит. От него приятно пахнет английскими сигаретами, дорогими духами и еще медом: кожа впитала запах шелка, легкой шелковой ткани, отдающей какими-то плодами, теплый золотистый запах; и я хочу его. Я говорю ему: я тебя хочу. Он просит меня потерпеть еще немного. И говорит — говорит мне, что сразу, еще на пароме понял: я буду такой после своего первого мужчины, всегда буду любить любовь; он уже знает, я стану изменять ему, как и всем мужчинам, с которыми буду близка. И добавляет, что сам навлек на себя такое несчастье. А я счастлива все это слышать и не скрываю радости. Он делается грубым, ибо сознает всю безнадежность своей любви, и набрасывается на меня, кусает детские груди, выкрикивает бранные слова. Я закрываю глаза от острого наслаждения. Думаю: ему можно довериться, это ведь все, что он умеет в жизни — только любить, а больше ничего. Какие опытные, какие чудесные, восхитительные руки! Ясно, мне повезло: для него это едва ли не профессия; сам

того не ведая, он точно знает, что надо делать, что говорить. И называет меня шлюхой, мерзавкой, своей единственной любовью — именно так он должен говорить, так говорят, когда дают волю словам, дают волю телу, и оно само ищет, находит, берет то, что хочет, и тогда все прекрасно, осечки быть не может, все тонет в неистовом потоке желания.

Шум города так близко, рядом, я слышу, он касается планок жалюзи. Слышу шаги, будто толпа идет через нашу комнату. Я ласкаю его тело под этот шум, под шорох шагов. Нас окружает необъятное море, уходит, вздымается, приближается вновь.

Я просила его: еще, еще. Делай так со мной. И он повиновался. Прямо так, в липкой крови. И от этого действительно можно было умереть. Просто можно было умереть.

Он зажег и дал мне сигарету. Потом приблизил свои губы к моим и заговорил со мной тихо-тихо.

И я так же тихо отвечала ему.

Сам он ничего не знает, и я рассказываю ему, вместо него, — он не знает, а я рассказываю об утонченности его ласк.

Наступает вечер. Он говорит, что я на всю жизнь

запомню этот день, воспоминание не угаснет и тогда, когда я совсем забуду его, забуду даже его лицо, даже имя. Я спрашиваю, вспомню ли этот дом. Он отвечает: взгляни вокруг, повнимательнее. Я гляжу. И говорю: ничего особенного, так же, как везде. Да, говорит он, как везде, как всегда.

Я еще не забыла его лицо, помню его имя. Вспоминаю белые стены, полотняную штору, отгораживающую нас от уличного пекла, полукруглую, в виде арки дверь, которая ведет в другую комнату и в сад, где растения пожухли от жары, в сад, окруженный голубой балюстрадой, как на большой вилле в Шадеке, с террасами в несколько ярусов, выходящими на Меконг.

Кажется, будто в этой комнате только что произошла беда, катастрофа. Он спрашивает, о чем я думаю. Я отвечаю: о матери, о том, что она убьет меня, если узнает правду. Я вижу — ему приходится сделать над собой усилие, и наконец он говорит, что прекрасно понимает мою мать, говорит — это позор. И еще: на ее месте я бы не пережил, даже если бы мы поженились. Я смотрю в глаза ему, он — мне. А он, оказывается, гордый. Он говорит: я китаец. Мы улыбаемся друг другу. Я спрашиваю его, всегда ли бывает так грустно потом. Он отвечает: это потому, что мы занимались

любовью днем, в самую жару. Потом всегда очень тяжело. Он улыбается. Говорит: любят люди друг друга или нет, все равно потом тяжело. И добавляет — к ночи все обычно проходит, а скоро уже наступит ночь. Нет, говорю я, это не только из-за жары, ты ошибаешься, это моя грусть, я ее ждала, она идет от меня самой. Говорю, что всегда была грустна. Это видно даже на снимках, где я совсем маленькая. А сегодня моя всегдашняя грусть так на меня похожа, ее можно было бы назвать моим именем. Сегодня, говорю я, эта грусть — благо, ведь со мной наконец случилось то самое несчастье, что предрекала мне мать, вечно вопиющая в пустыне своей жизни. Говорю: я не очень хорошо понимала ее слова, но эта комната — именно то, чего я ожидала. Я говорю, говорю и не жду ответа. Говорю: мать выкрикивает свои пророчества, будто посланница Божья. Она кричит, что не надо ничего ни от кого ждать: ни от людей, ни от властей, ни от богов. Он глядит, не сводя с меня глаз, смотрит, как шевелятся мои губы, гладит мое обнаженное тело, может быть, даже не слушает, не знаю. Я говорю: случившееся со мной — не только мое несчастье. Рассказываю, как нам было тяжело — питаться, одеваться, жить на одно только жалованье матери. Говорить все труднее.

Он спрашивает: и как же вы жили? Я отвечаю, что мы остались без крова, нищета подточила сами опоры семьи, и наше прибежище рухнуло, каждый делал все, что хотел. Мы потеряли стыд. Вот почему я здесь, с тобой. Он уже лежит сверху и погружается в меня все глубже. Мы лежим так, неразрывно спаянные, и тихонько постанываем в окутывающем нас уличном шуме. Еще слышим его. А потом больше не слышим.

Он целует мое тело, и я плачу. Он утешает меня поцелуями. Дома я не плакала никогда. Сегодня, в этой комнате, слезы приносят утешение, что бы ни случилось со мной в прошлом, да и в будущем тоже. Я снова говорю о матери: как только расстанусь с ней, разлюблю даже ее, мою мать. Я плачу. Уткнувшись мне в плечо, он тоже плачет оттого, что плачу я. Говорю: в детстве я так много думала о несчастье матери, что не оставалось времени мечтать. Я всегда мечтала о матери, а не о рождественских елках, о ней одной, когда нищета заживо сдирала с нее кожу, когда она из себя выходила, вопияла в пустыне, билась, чтобы раздобыть еды, или вела нескончаемый рассказ о том, что случилось с ней, Мари Легран

из Рубе,[2] говорила о своей наивности, о своих сбережениях, о надеждах.

Сквозь жалюзи я вижу — спустился вечер. Шум снаружи все сильней. Улица гомонит громче, не так глухо. В фонарях загорелись розоватые лампочки.

Мы выходим из гарсоньерки. Я снова надела мужскую шляпу с черной лентой и золотые туфельки, накрасила губы темно-красной помадой, надела шелковое платье. Вдруг чувствую, что постарела. Он тоже заметил и говорит: ты устала.

На улице толпа, люди идут, в разные стороны, то медленнее, то быстрее, прокладывают себе путь, толпа шелудива, как бродячий пес, слепа, как старик нищий, это китайская толпа, я и теперь узнаю ее на фотографиях, воспевающих процветание страны, узнаю по манере людей идти без малейших признаков нетерпения, но умению каждого держаться среди толпы так, будто он совсем один, без особой радости, но и без печали, без всякого любопытства, и даже не поймешь, идут прохожие или стоят на месте, просто движутся в том направлении, а не в ином, затерянные в толпе, эти люди никогда не остают-

---

[2] Примечания: 2

Рубе — старинный город на севере Франции; близ Лилля.

ся наедине с собой, их одиночество — в толпе.

Мы идем в один из больших китайских ресторанов, занимающих целые многоэтажные здания, рестораны огромны, как универсальные магазины или казармы, тут множество балконов и террас, выходящих на улицу. Царит шум, который невозможно представить себе в Европе: официанты во весь голос выкрикивают заказы по нескольку раз, затем их так же громко подхватывают на кухне. В этих ресторанах не разговаривают, здесь можно только кричать. На террасах играют китайские в оркестры. Мы поднимаемся на самый тихий этаж, предназначенный для европейцев, — меню здесь то же, но кричат меньше. Крутятся вентиляторы, стены обиты чем-то мягким, чтобы было не так шумно.

Я прошу его рассказать мне о состоянии отца — как тот его нажил. Он отвечает, что терпеть не может говорить о деньгах, но если мне так хочется, готов рассказать все, что знает об отцовском богатстве. Начал старик в Шолоне со строительства квартир-отсеков для местных жителей. Построил около трехсот квартир. Несколько улиц целиком принадлежат ему. Сын его говорит по-французски с чуточку утрированным парижским акцентом, говорит о деньгах с

подкупающей непринужденностью. У отца было несколько домов, он продал их, чтобы купить участки под застройку на юге Шолона. И рисовые поля продал, в Шадеке, кажется. Я спрашиваю об эпидемиях. Говорю, что видела целые улицы закрытых квартир-отсеков, и закрываются все новые и новые, они так и стоят с заколоченными дверями и окнами из-за эпидемии чумы. Мой спутник отвечает: случаев заболевания здесь меньше, и крыс морят чаще, чем в факториях. И вдруг разражается целым монологом о квартирах-отсеках. Они стоят дешевле квартир в больших домах или частных домиков и гораздо больше подходят для здешних рабочих кварталов, чем изолированные жилища. Люди здесь держатся вместе, особенно бедняки, к тому же все они из деревни и привыкли жить прямо на улице. Не стоит ломать привычки бедняков. Отец недавно построил ряд отсеков с крытыми галереями, выходящими на улицу. Это настоящие улицы — светлые, веселые. Люди проводят целые дни на галереях. Когда очень жарко, они там же и спят. Я говорю: мне тоже хотелось бы жить на такой галерее, в детстве я всегда мечтала спать на улице. И вдруг ощущаю боль. Слегка, только на мгновение. Будто сердце не на месте, будто

оно бьется в свежей ране, нанесенной им, человеком, который что-то говорил мне, человеком, сегодня давшим мне наслаждение. Я больше не слышу его, не слушаю. Он понял это и умолкает. Я говорю: продолжай. Он снова начинает рассказывать. Я слушаю его. Теперь он говорит, что часто вспоминает Париж. По его словам, я совсем не похожа на парижанок, далеко не так мила. Я говорю, что вся эта затея с отсеками, должно быть, не особенно выгодна. Он уже не отвечает.

На протяжении всего нашего знакомства, все полтора года, о чем бы мы ни говорили, никогда не заходил разговор о нас самих. Зная с самого начала, что вместе нам не быть, мы не говорили о будущем; наши беседы напоминали пересказ статей из газет, о том, о сем и всегда об одном и том же.

Я говорю: пребывание во Франции определило твою судьбу. Он соглашается. Говорит, что во Франции купил все: женщин, знания, образ мыслей. Он старше меня на двенадцать лет, и это внушает ему страх, Я слушаю, как он говорит, сам себя обманывая, и все-таки любит меня, не без примеси актерства, однако искренне.

Я заявляю, что представлю его своей семье, он

хочет избежать этой темы, а я смеюсь.

Он не в состоянии выразить своих истинных чувств, получается пародия. Я догадываюсь: он не может любить меня, не считаясь с волей отца, взять и увезти меня куда-нибудь. Он часто плачет, потому что его любви не победить его страха. Я — воплощение его смелости и свободы, а богатство отца — воплощение его рабства.

Когда я завожу разговор о братьях, им тут же овладевает страх, словно его уличили в чем-то недозволенном. Ему кажется, будто все вокруг только и ждут, когда он попросит моей руки. Он знает, мои родственники уже считают его негодяем, и ему суждено лишь еще больше замарать себя, а заодно и меня.

Он рассказывает, как поехал в Париж, чтобы поступить в коммерческое училище, наконец-то говорит правду: он ничего не делал, и тогда отец перестал снабжать его деньгами и прислал обратный билет; вот так ему пришлось покинуть Францию. Возвращение домой — трагедия для него. Коммерческое училище он не окончил. Говорит, что надеется сдать экзамены экстерном.

Встречи с моей семьей начались с роскошных обедов в Шолоне. Когда мать и братья приезжают

в Сайгон, я говорю ему: надо пригласить их в китайский ресторан, они никогда там не были.

Все эти обеды проходят совершенно одинаково. Братья обжираются, а его не замечают. Даже не смотрят в его сторону. Не могут на него смотреть. Просто не могут. Если бы им удалось сделать над собой усилие, пришло бы и многое другое, например умение учиться, подчиняться элементарным правилам жизни в обществе. Говорит за столом только мать, и то очень мало, она роняет несколько замечаний о блюдах, которые нам подают, о бешеных ценах, затем и она умолкает. В первый раз, да и во второй тоже он пробует завязать беседу, говорит без умолку, пытаясь развлечь присутствующих рассказами о своих похождениях в Париже, но все напрасно. Будто его и нет вовсе, будто его не слышат. Все попытки тонут в гробовом молчании. Мои братья продолжают жрать. Никогда не видела, чтобы так обжирались.

Он расплачивается. Пересчитывает деньги. Кладет на блюдечко. Все на него смотрят. Помню, в первый раз он отсчитал семьдесят семь пиастров. Я вижу, что мать вот-вот истерически расхохочется. Мы встаем. Никто не благодарит. Ему никогда не говорят ни «спасибо за прекрас-

ный обед», ни «здравствуйте», ни «до свидания», ни «как поживаете»? — ничего не говорят.

Братья никогда не обращаются к нему. Будто он невидим, прозрачен, его не воспринимают, не замечают, не слышат. Все потому, что он у моих ног и они убеждены: я не люблю его, встречаюсь с ним из-за денег, о любви здесь и речи нет, это невозможно, они снесли бы любую мою выходку, но не допускают и мысли о том, что я могу любить этого человека. Ведь он китаец, не белый. Старший брат молчит и уверенно игнорирует моего любовника, а нам остается только следовать его примеру. Да, мы все обращаемся с этим китайцем как и старший брат. И я с ним тоже не разговариваю при братьях. В присутствии родных я не должна говорить с ним, не могу сказать ему ни слова. Разве только по просьбе братьев. Например, они говорят мне после обеда, что хотят поехать в ночной клуб «Родник», выпить и потанцевать, а я должна передать ему: мы хотим выпить и потанцевать в «Роднике». Он сначала притворяется, будто не расслышал. Но я, подчиняясь старшему брату, не повторяю сказанного, не прошу дважды: это значило бы ошибиться, уступить, поддаться жалости. В конце концов он все же отвечает мне. Стараясь понизить голос до

интимного шепота, он говорит, что предпочел бы побыть со мной вдвоем. Он пытается положить конец этой пытке. Но тут я должна притвориться, словно не расслышала, я опять предаю его: он пытается в одиночку отразить удар, изобличить в моих глазах недопустимое поведение старшего брата, поэтому и теперь я не должна ничего отвечать. Он делает новую попытку, нерешительно произносит: посмотрите на вашу мать, она устала. Действительно, после сказочных китайских обедов в Шолоне мать одолевает сон. Но я по-прежнему не отвечаю. И тогда раздается голос старшего брата: звучит фраза, краткая, как удар, не допускающая возражений. Мать однажды сказала о нем: из троих детей он лучше всех умеет говорить. Брат произносит эту фразу и ждет. Все замирают, я смотрю на моего любовника и узнаю его страх — тот же страх, что владеет младшим братом. Он больше не сопротивляется. Мы едем в «Родник». Мать тоже едет с нами, в «Роднике» она просто заснет.

В присутствии старшего брата он уже не мой любовник. Да, он существует, но для меня он никто. Пустое место. Желание моего тела слабее, чем воля старшего брата, и тот заставляет меня отвергнуть любовника. Всякий раз, когда я вижу

их вместе, мне кажется, я этого больше не вынесу. И я отрекаюсь от любовника, от его слабости, от слабого тела, доставлявшего мне немыслимое наслаждение. В присутствии брата он становится моим позором, постыдной тайной, которую надо скрывать. Я не в силах противиться безмолвному приказу старшего брата. Если он настраивает меня против младшего, я еще могу бороться. Если же против моего любовника, ничего не могу с собой поделать. Даже сейчас, когда я пишу об атом, мое лицо приобретает отвратительное, неискреннее выражение, я словно вижу человека, рассеянно глядящего в сторону и думающего о чем-то постороннем, но по тому, как стиснуты зубы, можно догадаться, что нервы на пределе, и неужели надо терпеть эту гнусность лишь затем, чтобы хорошо поесть в дорогом ресторане, ведь, казалось бы, что может быть естественней? Воспоминание озарено бледным ночным светом, это ночь, когда убийца с большой дороги выходит на промысел. Я слышу пронзительный, тревожный звук — крик ребенка.

В «Роднике» с ним по-прежнему никто не разговаривает.

Мы заказываем «Мартель Перье». Братья залпом осушают свои бокалы и повторяют заказ. Мы

с матерью отдаем им свои порции. Братья быстро пьянеют. С моим любовником они не говорят, но вскоре начинают жаловаться на все вокруг. Особенно младший. Ему здесь не нравится, ему скучно, не с кем потанцевать. В будни народу очень мало. Я танцую с младшим братом. И с любовником тоже. Но со старшим — нет, с ним я никогда не танцевала. Рядом с ним я остро ощущаю опасность, некое пагубное влечение, которому подвластны все.

Поразительно, до чего я на него похожа, особенно лицом.

Китаец из Шолона обращается ко мне; он готов расплакаться и спрашивает: ну что я им сделал. Я говорю: не беспокойся, мы всегда ведем себя так, даже дома, всегда, при любых обстоятельствах.

Я все объясню ему, когда мы вернемся в гарсоньерку. Я говорю: неистовая натура моего старшего брата, его холодная ярость проявляются во всем, что бы с нами ни произошло, что бы ни случилось. Его первое, неосознанное еще движение — убить, зачеркнуть человека, распорядиться чужой жизнью, ему хочется унижать, преследовать, причинять боль. Но ты не бойся, успокаиваю я. Да тут нечего бояться. Ведь единственный человек, которого старший брат сам

боится, перед которым он, как ни странно, робеет, — это я.

Мы никогда не говорим ни «добрый день», ни «добрый вечер», ни «с Новым годом». Никогда не говорим «спасибо». Мы вообще не разговариваем. Это ни к чему. Мы безмолвны, далеки друг от друга. Наша семья — каменная, окаменевшая в своей неприступности. Изо дня в день мы пытаемся убить каждый себя и друг друга, нам хочется убивать Мы не только не разговариваем — даже не смотрим друг на друга. Нас видят, а мы ни на кого не смотрим. Посмотреть, поддаться любопытству — первый признак падения. Никто не стоит и взгляда. Смотреть — позорно. Мы изгнали из обихода слово «беседа». Вот, наверное, самое полное отражение нашего стыда и нашей гордыни. Любое сообщество, семья ли, нет ли, — ненавистно и унизительно. Нас объединяет изначальный стыд — нам стыдно за то, что мы живем. Вот глубинный смысл истории нашей семьи, истории троих детей простой и честной женщины, нашей матери, женщины, погубленной обществом. Мы все — выходцы из общества, которое довело нашу мать до отчаяния. Что сделали с матерью, такой доброй, доверчивой! Вот за это мы ненавидим жизнь, ненавидим каждый себя и друг друга.

Мать не могла знать, какими мы станем, изо дня в день наблюдая ее отчаяние, особенно мальчики, сыновья. Но даже если бы она это предвидела, разве можно было скрыть от нас само течение ее жизни? Постоянно лгать — лицом, глазами, голосом? Своей любовью? Конечно, она могла умереть. Убить себя. Тогда распалась бы эта невыносимая семья. И мать окончательно отлучила бы старшего сына от младших детей. Но она удержалась. Мать была неосторожна, непоследовательна, безответственна. Да, разумеется. Но она жила. И мы все трое любили ее сильнее, чем можно любить в этой жизни. За то, что она не умела, никогда не умела молчать, скрывать правду, лгать, мы, такие разные, одинаково любили ее.

Это продолжалось долго. Семь лет. Началось, когда нам было лет по десять. А потом исполнилось двенадцать. Потом тринадцать. Потом четырнадцать, пятнадцать лет. И наконец, шестнадцать, семнадцать. Мать боролась все эти годы — семь лет. А потом оставила надежду. Оставила навсегда. И не пыталась больше сражаться со стихией. Мы сидим в тени веранды и смотрим на гору Сиам, темную, почти черную под яркими лучами солнца. Теперь мать спокойна: она ушла

в себя. А рядом с ней мы — маленькие герои, дети отчаяния.

Младший брат умер в 1942 году, во время японской оккупации. Я уехала из Сайгона в 1931-м, после второго экзамена на степень бакалавра. За десять лет он написал мне всего одно письмо. Не знаю почему. Письмо было чистенькое, без единой помарки, переписанное красивым почерком. Он сообщал, что чувствует себя хорошо, учится неплохо. Письмо получилось длинное — на двух страницах. Я сразу узнала его почерк, совсем детский. Еще он писал, что у него есть квартира, машина, даже указал, какой марки. Писал, что снова стал играть в теннис. Что он живет хорошо, все в порядке. Что любит меня и целует крепко-крепко. Он не упоминал ни о войне, ни о старшем брате.

Подобно матери, я часто говорю о братьях так, будто они — одно целое. Я говорю «мои братья», как она говорила при посторонних «мои сыновья». Она всегда с какой-то агрессивностью рассказывала, что сыновья у нее очень сильные. При посторонних она никогда не вдавалась в подробности, не уточняла — старший сын гораздо сильнее младшего, только говорила, что он си-

лен, словно ее родные братья, крестьяне с севера Франции. Она гордилась силой своих сыновей, как раньше гордилась силой братьев. И мать, и ее старший сын презирали слабых. О моем любовнике из Шолона они отзывались одинаково. Я не привожу здесь этих слов, сравнений с падалью, гниющей в пустыне. Я говорю «мои братья», ибо раньше и я так говорила. Только потом стала говорить иначе, позже, когда младший брат вырос и превратился в мученика.

Мало того, что в нашем доме не отмечается ни один праздник, что у нас никогда не было ни рождественских елок, ни вышитых платочков, ни цветов. Мало того, мы даже не поминаем умерших, у нас нет дорогих нам могил, нет воспоминаний об ушедших. Есть только мать. Старший брат навсегда останется убийцей. Младший из-за него погибнет. А мне удалось уйти, вырваться. И до самой смерти мать всецело принадлежала только старшему сыну.

В ту пору в Шолоне, когда возник мой новый образ, когда у меня появился любовник, на мать находит приступ безумия. Она ничего не знает о происшедшем в Шодоне. Но я вижу, как она наблюдает за мной, и понимаю, подозрений

не избежать. Она хорошо знает свою дочь, с недавних пор девочку окружает атмосфера отчужденности, некая сдержанность появилась в ее поведении, и этого нельзя не заметить; речь у нее стала еще медленнее, чем раньше, прежде такая любопытная, она теперь рассеянна, смотрит в пространство, словно созерцает спектакль под названием «жизнь матери», наблюдает за ее несчастьем, смотрит развязку драмы. И это — нежданный ужас в жизни матери. Девочке грозит самое страшное: она рискует никогда не выйти замуж, не завоевать положения в обществе, стать отверженной, парией, погубить себя. В припадке отчаяния мать набрасывается на меня, запирает в комнате, бьет кулаками, хлещет по щекам, раздевает донага, приблизившись ко мне, обнюхивает мое тело, белье, заявляет, что от меня пахнет китайцем, но и этого ей мало, она выискивает подозрительные пятна на белье и кричит, кричит так, что, наверное, всему городу слышно: ее дочь — проститутка, надо вышвырнуть девчонку вон, пусть подыхает, никому она больше не нужна, опозоренная, да за бродячую суку больше дадут. И рыдает — что же ей теперь делать, остается только выгнать дочь, пусть не поганит дом.

За закрытой дверью слушает брат.

Брат отвечает матери — правильно, девчонку надо бить, медовым, вкрадчивым, ласковым голосом говорит: необходимо узнать правду любой ценой, чтобы не дать девочке погубить себя, а матери — умереть от горя. Мать бьет меня изо всех сил. Младший брат кричит: оставь ее в покое! Он бежит в сад, прячется там, бедный, ему страшно, а вдруг меня убьют, он боится, как всегда боялся этого чужака — нашего старшего брата. Страх младшего успокаивает мать. Он плачет, оплакивает свою разбитую жизнь и опозоренную дочь. Вслед за ней я тоже начинаю плакать. И лгу. Я клянусь жизнью: ничего не было, даже ни одного поцелуя. Ты с ума сошла, говорю я, он же китаец, как я могу — с китайцем, да еще с таким уродом, он же тощий как щепка! Старший брат приник к двери, весь обратился в слух, он знает, что там делает мать, знает — сестренка голая, ее бьют, и пускай избиение длится без конца, пусть ее забьют до смерти. А мать угадывает эти мрачные, устрашающие помыслы старшего брата.

Помню, мы еще совсем маленькие. Постоянно вспыхивают драки между братьями, безо всякого повода; вернее, повод всегда подает старший брат, говорит младшему: уйди, ты мешаешь. И

тут же бьет. Они дерутся молча, слышно только их тяжелое дыхание, стоны да глухие удары. Сцена проходит под аккомпанемент воплей матери.

Оба одинаково подвержены вспышкам ярости, неистовой, убийственной ярости — так бывает только у родных братьев, у сестер, у матерей. Старший брат страдает оттого, что не может безнаказанно творить зло, не может повелевать злом, не только здесь, везде. Младший беспомощен перед этим кошмаром, снедающим старшего.

Когда они дрались, нас охватывал смертельный страх за обоих, мать говорила, будто братья дрались всегда, никогда не играли вместе, даже не разговаривали. Общего у них было — мать и, главное, сестренка — родная кровь, больше ничего.

Помню, только о старшем мать говорила «дитя мое». Да, иногда она называла его так. О двух других детях говорила «младшие».

Мы никогда никому обо всем этом не рассказывали, научившись с раннего детства молчать о главном в нашей жизни — о нищете. А позже поняли: об остальном тоже надо молчать. Первыми, кому мы исповедовались — впрочем, это слишком сильно сказано, — были наши любов-

ники и любовницы и те, кого мы встречали за пределами факторий сначала на улицах Сайгона, затем на пароходах, в поездах, а потом — везде.

Иногда под вечер, особенно когда стоит сушь, мать — это тоже находит на нее внезапно — начинает мыть дом сверху донизу; она говорит: пусть у нас станет чище, свежее, здоровее. Дом стоит на небольшой насыпи, он приподнят над садом, чтобы не заползли змеи, скорпионы и красные муравьи, а еще для защиты от разливов Меконга, наступающих после муссонных дождей. Поэтому наш дом так легко мыть, просто лить воду ведрами, залить все комнаты, как дождь заливает сад. Все стулья на столах, по полу текут ручьи, даже у пианино в маленькой гостиной ножки в воде. Вода стекает по ступенькам крыльца, заливает внутренний дворик, устремляется к кухне. Маленькие бои сияют, мы веселимся с ними вместе, брызгаем друг на друга водой, а потом моем пол марсельским мылом. Все бегают босиком, и мать тоже. Она смеется. И она всем довольна. Дом благоухает, восхитительный аромат мокрой земли, словно после грозы, сводит нас с ума, особенно когда смешивается с другими запахами — марсельского мыла, чистоты, доброты, белья немыслимой белизны, с запахом нашей матери,

ее чистой души. Вода стекает на аллеи сада.

К боям приходят родители, друзья, прибегают белые ребята из соседних домов. В доме шум, гам, настоящий разгром, и мать счастлива, она может быть очень, очень счастлива, когда забывается, когда моет дом, как же мало надо, чтобы сделать ее счастливой. Мать бежит в гостиную, садится за пианино, играет несколько мелодий, которые знает наизусть, она выучила их в Нормальной школе. И поет. Да, иногда она играет и смеется. Потом вскакивает и танцует, продолжая напевать. И все мы думаем вместе с ней: надо же, ведь мы можем быть счастливы в этом безобразном доме, который вдруг превращается в озеро, в заливной луг, в отмель, в берег моря.

Младшие дети — девочка и мальчик — спохватываются первыми. Они перестают смеяться и уходят в сад, где сгущаются сумерки.

Я пишу эти строки и вдруг вспоминаю, что старшего брата не было с нами в Виньлонге в те дни, когда мы мыли дом. Он гостил у нашего опекуна, сельского священника в департаменте Лот-и-Гаронна.

Конечно, он тоже иногда смеялся, но так, как мы, — никогда. Все-то я забываю, забыла сказать: мы с младшим братом в детстве часто хохотали

до упаду, просто умирали со смеху.

Война представляется мне похожей на мое детство. Я просто путаю военное время и эру господства старшего брата. Наверное, еще и потому, что во время войны умер младший: я уже говорила, сердце у него не выдержало, остановилось. Кажется, в войну я ни разу не видела старшего. Тогда для меня уже не имело значения, жив он или умер. Война представляется мне похожей на него: везде присутствует, всюду проникает, обкрадывает, берет в плен, во все лезет, вмешивается, впутывается, она здесь, в моем теле, в мыслях, наяву и во сне, горит неистовой жаждой, желая владеть чужой землей, чужим телом, телом ребенка, более слабого, побежденного; вот оно, зло, у моих дверей, я чувствую его кожей.

Мы идем в гарсоньерку. И снова мы — любовники. Любим друг друга и не можем остановиться.

Я не всегда возвращаюсь вечером в пансион, бывает, засыпаю рядом с ним. Не могу спать в его объятиях, потому что слишком жарко, но сплю в его комнате, в его постели. Бывает, пропускаю занятия в лицее. Поздно вечером мы идем ужинать в город. И он сам моет меня под душем, намыливает, ополаскивает, он обожает это делать, наносит мне грим, одевает меня, обожает. Я

— единственная его любовь. Он живет в страхе, боится, что я могу встретить другого мужчину. А я ничего этого не боюсь. Его преследует и другой страх, не потому, что я белая, — потому что совсем юная, такая юная, что его посадят в тюрьму, если узнают о нашей связи. Он просит: лги матери по-прежнему, и особенно — старшему брату, никому ничего не говори. И я лгу. А еще смеюсь над его страхами. Мы слишком бедны, говорю я, мать не сможет даже подать в суд, да и вообще, она проиграла все свои процессы — против налогового управления, против администрации, против губернаторов, против властей, она совершенно не умеет судиться, не умеет сохранять спокойствие и ждать, долго ждать, нет, не может, срывается и сама все портит. И с тобой вышло бы точно так же, не бойся.

Мари-Клод Карпентер. Американка, насколько я помню, из Бостона. Очень светлые, серо-голубые глаза. 1943 год. Волосы у Мари-Клод Карпентер тоже были светлые. Слегка увядшее лицо. Все еще красивая. Быстрая улыбка на мгновение озаряла ее лицо и тут же исчезала, словно вспышка молнии. Даже теперь я еще слышу ее голос, очень низкий, иногда он вдруг становился пронзительным и фальшивым на высоких нотах.

Ей стукнуло сорок пять, это уже возраст, солидный возраст. Жила она в шестнадцатом округе, недалеко от моста Альма. У нее была большая квартира на последнем этаже высокого дома, стоявшего, кажется, на набережной Сены. Зимой мы, случалось, обедали у нее. А летом — завтракали. Она заказывала еду в лучших парижских ресторанах. Очень приличная еда, но ее всегда не хватало. Я видела Мари-Клод Карпентер только у нее дома и нигде больше. Несколько раз к ней приходил поэт, последователь Малларме. Обычно были двое-трое писателей. Они появлялись лишь раз и исчезали. Я так и не узнала, где она их выкапывала, где знакомилась с ними и зачем их приглашала. Ни об одном из них я никогда не слыхала, не читала и не знала их книг. Завтраки и обеды продолжались недолго. Много говорили о войне, о Сталинградской битве, был конец зимы 1942 года. Мари-Клод Карпентер слушала, расспрашивала, сама говорила мало, она удивлялась, что столько событий ускользают из поля зрения, и смеялась над собой. Сразу после обеда она извинялась перед гостями: ей нужно срочно уйти, у нее дела. Никогда не уточняла, что за дела. Если нас, гостей, было много, оставались в квартире еще час-другой после ее ухода. Она говорила нам:

сидите сколько хотите. В ее отсутствие никто о ней не говорил. Думаю, что это было бы просто невозможно, ведь никто ее на самом деле не знал. Домой мы всегда возвращались с одним и тем же чувством — будто видели странный сон, провели несколько часов у незнакомцев, в окружении гостей, которые испытывали то же самое чувство и сами были незнакомцами, несколько часов без будущего, необъяснимых ни с человеческой, ни с любой другой точки зрения. Это напоминало переезд через границу, долгое путешествие на поезде, ожидание в приемных врачей, в холлах гостиниц, в аэропортах. Летом мы завтракали на большой террасе, выходившей на Сену, и пили кофе в саду на крыше дома. Там был даже бассейн. Но никто не купался. Мы сидели и смотрели на Париж. Пустынные проспекты, река, улицы. На пустых улицах — деревья в цвету. Мари-Клод Карпентер. Я почти все время смотрела на нее, она смущалась, но я ничего не могла с собой поделать. Смотрела, пытаясь понять, кто же она такая, Мари-Клод Карпентер. Отчего она здесь, а не в другом месте, зачем явилась из такой дали, из Бостона, отчего богата и окружена тайной, и зачем ей эти чопорные приемы, и отчего, отчего в ее взгляде, в глубине ее глаз так ясно видится

притаившаяся смерть, отчего? Мари-Клод Карпентер. Отчего все ее платья были так похожи одно на другое, какие-то странные, словно с чужого плеча, словно выглядели бы точно так же на другой женщине? Платья без особых примет, все очень светлые, белые — лето посреди зимы.

Бетти Фернандес. Воспоминания о мужчинах никогда не бывают окружены столь — ярким светом, как встающие в памяти образы женщин. Бетти Фернандес. Тоже иностранка. Я произношу это имя и вижу ее снова: вот она идет по улицам Парижа; очень плохо видит, близоруко щурится, наконец узнает вас и приветствует легким взмахом руки: «Здравствуйте-как-поживаете?» Она уже давно умерла. Лет тридцать назад. Я помню, она была грациозна, я все помню, ничего не забуду, теперь уже слишком поздно, воспоминания не кончаются, никогда не кончатся, помню то время, холод и голод, поражение Германии и разоблачение ее преступления. А она все спешит по улицам над историей, над всеми событиями, сколь бы ужасны те ни были. У нее тоже светлые глаза. Старое розовое платье, черный капор, на ярком солнце совсем пыльный. Высокая, худая — словно набросок тушью или гравюра. Прохожие останавливаются и как зачарованные смотрят

на элегантную иностранку, которая проходит, никого не замечая. Королева. Сразу не поймешь, откуда она идет. И невольно говоришь себе: только оттуда, издалека, из другого мира. Поэтому она красива, очень красива. Одевается в старые, поношенные платья, зато от лучших портных Европы. Старая парча, старые, вышедшие из моды костюмы, одежды, сшитые из древних занавесок, из каких-то обрезков, найденных на дне сундука, лоскутков от нарядов, сшитых когда-то в лучших парижских ателье, траченные молью лисьи воротники и горжетки, старые шляпы и муфты из выдры, ее красота растерзанна, ежится от холода, плачет навзрыд, это красота изгнанницы, ни один наряд ей не идет, все слишком велики, она такая худая, что тонет в них, все на ней болтается, но это красиво. Такова уж она, с головы до ног: на ней любая вещь тут же приумножает ее красоту.

Бетти Фернандес тоже принимала гостей, у нее был свой «день». Мы иногда ходили к ней. Однажды там был Дриё ла Рошель.[3] Он раздувался от гордости, говорил бархатным голосом — мало, не снисходя, говорил с трудом, будто на чужом

[3] Примечания: 3

Пьер Дриё ла Рошель (1893–1945) — французский писатель крайне правого толка, во время Второй мировой войны сотрудничал с немцами.

языке. Кажется, был еще Бразильяк,[4] но я его не помню, а жаль. Сартра не было. Приходили поэты монпарнасской группы, но я никого не запомнила, совсем никого. Немцев не было никогда. О политике не говорили. Только о литературе. Рамон Фернандес рассказывал о Бальзаке. Мы готовы были слушать его ночи напролет. Он говорил со знанием дела, почти недоступным в наши дни, и лишь мелочи можно было подтвердить фактами. Информации в его рассказах было мало, зато они изобиловали суждениями. Он говорил о Бальзаке, будто о себе, будто сам однажды попытался влезть в шкуру Бальзака. Рамон Фернандес был необычайно учтивым человеком, даже и в учености; он умел просто и доступно делиться своими знаниями, не давя на слушателей. И всегда — искренне. Как радостно бывало встретить его на улице или в кафе, он счастлив вас видеть, вправду, и здоровается, сияя от удовольствия. «Здравствуйте-как-поживаете?» Произносил он это на английский манер, в одно слово, с веселым смешком, и тогда все казалось шуткой — и война, и ее бесчисленные и неизбежные тяготы, Сопротивление и коллаборационизм, голод и холод,

[4] Примечания: 4

Робер Бразильяк (1909–1945) — французский писатель, ярый коллаборационист.

пытки и предательство. И она, Бетти Фернандес, говорила только о людях, о прохожих на улице или о знакомых, о том, как у них идут дела, о товарах в витринах магазинов, о дополнительных талонах на молоко, на рыбу, о том, как бороться с нуждой, с холодом и вечным голодом, она была очень практична, дружелюбная и внимательная, преданная и нежная. Да, Фернандесы сотрудничали с немцами. А я через два года после войны вступила в коммунистическую партию. Теперь я понимаю — это абсолютно равноценно. Все то же — жалость, крик о помощи, несостоятельность суждений, можно сказать суеверие — вера в то, что политика поможет разрешить личную проблему. Бетти Фернандес тоже видела пустынные улицы времен немецкой оккупации, видела Париж, скверы с цветущими деревьями, как и та, другая женщина, Мари-Клод Карпентер. И у нее тоже был свой день приема.

Он отвозит ее в пансион в черном лимузине. Останавливается, не доезжая до ворот, чтобы его не увидели. Уже ночь. Она выскакивает, бежит не оглядываясь.

Вбежав в ворота, видит: большой двор для прогулок освещен. И, войдя во двор, сразу замечает ее, ту, что ждет, волнуется, держится очень пря-

мо, на лице — ни тени улыбки. И спрашивает: где ты была? Девушка отвечает: я не ночевала в пансионе. Она не объясняет почему, но Элен Лагонель не задает больше вопросов. Девушка снимает розовую шляпу и начинает расплетать косы. «Ты и в лицее не была». — «Да, не была». Элен говорит, что звонили из лицея, поэтому она все знает, и что нужно поговорить с главной надзирательницей. В полутемном дворе гуляют девушки. Все в белом. Фонари горят среди деревьев. Во многих классных комнатах тоже еще горит свет. Кое-кто до сих пор занимается, другие просто сидят в классах, болтают, играют в карты, поют. Ученицы не ложатся спать в определенный час, днем слишком жарко, поэтому вечером им дают порезвиться в свое удовольствие, да и молоденьким надзирательницам тоже этого хочется. Мы с Элен — единственные белые девушки в государственном пансионе. Здесь много метисок, большинство из них брошены отцами — солдатами, моряками, мелкими служащими таможни, факторий, государственных учреждений. Их направляют в пансион общественные благотворительные службы. Есть здесь и девушки с четвертью белой крови. Элен Лагонель думает, что, окончив пансион, придется стать

сиделкой в больнице или надзирательницей в сиротском приюте, в лепрозории, в психиатрической лечебнице. Еще она боится, что могут послать в холерный или чумной лазарет. Вот что думает Элен Лагонель и плачет, ее не прельщает такое будущее, она все время твердит: сбегу из пансиона.

Я пошла к дежурной надзирательнице, это молоденькая метиска, она все приглядывается к нам с Элен. И говорит: вы не были в лицее, не ночевали здесь прошлой ночью, придется сообщить вашей матери. Я отвечаю, что никак не могла иначе, но с этого дня постараюсь всегда возвращаться на ночь в пансион, я обещаю, и не стоит беспокоить мою мать. Молоденькая надзирательница смотрит на меня и улыбается.

Я не сдержу слова. Матери сообщат. Она явится к директрисе пансиона и попросит предоставлять мне свободу по вечерам, не вынуждать возвращаться к определенному часу и освободить от обязательной для пансионерок воскресной прогулки. Эта девочка привыкла к свободе, говорит она, иначе вы ее не удержите, даже я, мать, ничего не могу с этим поделать; чтобы не потерять ее, я вынуждена предоставить ей полную свободу. Директриса на все согласна: ведь я белая, а для

репутации пансиона среди метисок должно быть хоть несколько белых девушек. Еще мать сказала, что я хорошо учусь в лицее и там мне тоже предоставляют свободу; сказала, что с сыновьями ей так трудно, так тяжело, а эта девочка — ее последняя надежда, ей нужно получить образование.

С тех пор директриса позволяла мне жить в пансионе, как в гостинице.

Вскоре у меня на безымянном пальце появилось кольцо с бриллиантом. И надзирательницы совсем перестали делать мне замечания. Они, конечно, подозревают, что я вовсе не помолвлена, но бриллиант очень дорогой, вне всякого сомнения настоящий, и больше никто ничего не говорит: ведь мне, совсем еще юной, подарили такую драгоценность.

Я возвращаюсь к Элен Лагонель. Она лежит ничком на скамье и плачет — думает, что меня выгонят из пансиона. Присаживаюсь рядом с ней на скамью. Я изнемогаю: так прекрасно тело Элен Лагонель, прижавшейся ко мне. Восхитительное тело под тонким платьем, я могу коснуться его рукой. Какие груди, я никогда таких не видела. И никогда я их не трогала. Элен Лагонель бесстыдница, она просто не понимает, что делает,

разгуливая по дортуарам нагишом. Тело Элен Лагонель — лучший из всех даров Божьих: эта ни с чем не сравнимая гармония стана и манера нести свои груди, словно нечто ей не принадлежащее, отдельное от тела. Нет ничего удивительнее этой округлости, которая так и просится в руку. Даже грация младшего брата, маленького кули, меркнет рядом с этим великолепием. Линии мужского тела — строгие, скупые. Но оно не разрушается, подобно телу Элен Лагонель, которому уготована недолгая жизнь, быть может всего одно лето. Элен Лагонель приехала с гор, из Далата. Ее отец служит в фактории. Она пришла к нам совсем недавно, в середине учебного года. Элен всего боится, прижмется теснее и сидит так, молчит, иногда плачет. У нее смугло-розовый цвет лица, как у всех жителей гор, их легко узнать здесь, среди слишком бледных, анемичных детей, выросших в изнуряющем зное. Элен Лагонель не ходит в лицей. Она, Элен Л., не в состоянии ходить в школу. Не умеет учиться, ничего не запоминает. Она посещает курсы начального обучения в пансионе, но и это ничего не дает. Она плачет, прижавшись ко мне, а я глажу ее волосы, руки и говорю, что останусь с ней в пансионе. Элен Л. сама не знает, как она хороша. Ее родители ума

не приложат, что с ней делать, нужно выдать ее замуж поскорее. Все женихи будут у ног Элен Лагонель, стоит ей только захотеть, но она не хочет, не желает выходить замуж, ей бы вернуться к матери. Элен Л. Элен Эль. Элен Лагонель. В конце концов она все-таки уступит настояниям матери. Она гораздо красивее меня, красивее девочки в шутовской шляпе и золотых туфельках, Элен Лагонель гораздо легче выдать замуж, можно найти мужа для Элен Лагонель, связать ее брачными узами, запугать ненужными, непонятными объяснениями и приказать ей терпеть и ждать.

Элен Лагонель. Она еще не знает того, что известно мне. А ведь ей, между прочим, семнадцать. И никогда не узнает, смутно догадываюсь я.

Тело Элен Лагонель — тяжелое, еще невинное, кожа такая нежная, словно кожица тропического плода, тончайшая на ощупь, будто ее и нет — это уж слишком. Когда видишь Элен Лагонель, возникает желание убить ее, вот странная фантазия — собственными руками предать ее смерти. Она несет свои белоснежные груди, ничего о них не зная, показывает их, чтобы руки могли их мять, рот — кусать, она же их не замечает, не подозревает, что они всевластны. Мне хочется кусать

груди Элен Лагонель, как тот человек кусает мои груди в комнате в китайском квартале, куда я ухожу каждый вечер, чтобы углубить свое знание о божественном. Я сгораю от желания при виде божественно вылепленных грудей.

Я изнемогаю, потому что желаю Элен Лагонель. Я изнемогаю от желания.

Я хочу взять Элен Лагонель с собой, увести ее туда, где каждый вечер, закрыв глаза, кричу от наслаждения. Я хочу отдать Элен Лагонель человеку, который доставляет наслаждение мне, чтобы он сделал то же самое с ней. Я хочу, чтобы это произошло на моих глазах, чтобы она отдалась ему по моему желанию, отдалась тому, кому отдаюсь и я. Мой путь лежал через реку, теперь мой путь лежит через тело Элен Лагонель, через него я познаю самое полное наслаждение.

И от этого просто можно умереть.

Мне кажется, она из той же плоти, что и молодой китаец, но ее настоящее солнечно, лучезарно, невинно, ее вечный расцвет заметен в каждом движении, в каждой слезинке, даже в ее изъянах, в ее неведении. Элен Лагонель для меня — его женщина, этого раба, который доставляет мне ни с чем не сравнимое, невыносимое наслаждение,

женщина этого загадочного мужчины из Шолона, этого китайца. Элен Лагонель для меня — Китай.

Я не забыла Элен Лагонель. И этого человека, раба, я не забыла тоже. После того как я уехала, рассталась с ним, два года не подпускала близко ни одного мужчину. Но дело тут не в таинственной верности ему, дело только во мне самой.

Я так и не ушла из своей семьи и живу в ней, где бы ни жила на самом деле. В этой иссушенной ветрами пустыне, в этой окаменелой ожесточенности я больше всего уверена в себе, здесь я верю всей душой в суть и дело моей жизни — в то, что когда-нибудь я стану писать.

Моя семья. Здесь я всю жизнь буду укрываться от настоящего, где бы ни жила. После часов, проведенных в гарсоньерке китайца, я смотрю на свой дом свежим глазом, вижу его в новом свете. В этом доме трудно дышать, здесь притаилась смерть, здесь живут насилие и боль, отчаяние и позор. И дом в Шолоне — такой же. Но он — по другую сторону реки. Я пересекла реку.

Я не знаю, что сталось с Элен Лагонель, жива ли она. Она первой покинула пансион, задолго до моего отъезда во Францию. Она вернулась

в Далат. Мать ей велела. Насколько я помню, возвращение было связано с ее замужеством: в Далат приехал новый чиновник из метрополии. А может быть, я ошибаюсь, может быть, я сама придумала все, что случится с Элен Лагонель, когда мать вызвала ее домой.

Я все-таки должна рассказать, что это было, как это было. Ну вот: он крадет деньги у боев, чтобы курить опиум. Крадет деньги у матери. Роется в шкафах.

Ворует. Играет. Отец перед смертью купил дом в Антр-дё-Мер.[5] Это наше единственное достояние. Старший сын играет. И мать продает дом, чтобы заплатить его долги. Денег нет: ему никогда не хватает, ему все мало. Он пытается продать меня, совсем юную, богатым клиентам в «Куполь». Только для него мать еще хочет жить, для того, чтобы он ел, спал в тепле, чтобы кто-то звал его по имени. А история с земельным участком возле Амбуаз, который она купила ему на свои сбережения за целых десять лет. Он заложил его, чтобы заплатить проигранные в одну ночь деньги. А она платит проценты. Он вырубил и

---

[5] Примечания: 5

Местность на юго-западе Франции, между реками Гаронной и Дордонью.

продал все леса, я уже говорила. И тоже проиграл их в одну ночь. Обворовывал умирающую мать. Этот человек рылся в шкафах, у него был нюх на деньги, он безошибочно находил те стопки простыней, где было что-то припрятано, раскрывал все тайники. Крал даже обручальные кольца, памятные безделушки, украшения, еду. Крал у До, у боев, у младшего брата. И у меня тоже, еще как. Он и ее, свою мать, готов был продать. Когда она умерла, он тут же вызвал нотариуса, сразу, пока еще не стихла боль утраты. И умело использовал эту боль. Нотариус сказал, что завещание недействительно. Мать слишком увеличила долю старшего сына, обделив меня. Разница огромная, моя доля смехотворна. Я должна, ознакомившись с текстом завещания, признать его или опротестовать. И я признаю: ставлю свою подпись. Я на все согласна. Брат опускает глаза: спасибо. Плачет. Он искренне переживает смерть матери. Это правда. После освобождения Парижа его разыскивают, наверное, из-за сотрудничества с немцами на юге, ему некуда деваться. Я так никогда и не узнала, что ему грозило. Возможно, он выдавал партизан, евреев, все может быть. Он нежен, ласков со мной, как всегда после очередного злодеяния или когда ему что-нибудь

нужно. Мой муж в плену. Брат мне сочувствует. Он прожил у меня три дня. Я забыла, какой он, уходя, я ничего не запираю. Он перерыл все шкафы. Я берегла к возвращению мужа сахар и рис, полученные по карточкам. Он отыскал их и забрал. Обыскал и маленький шкафчик в моей спальне. И нашел, что хотел. Он взял все мои сбережения, пятьдесят тысяч франков. Ничего не оставил мне, ни франка. И сбежал из моей квартиры, как вор, унося с собой награбленное. Когда я снова увиделась с ним, ни слова об этом не сказала, так было стыдно за него, что я просто не смогла. Отхватив завещание, он продал замок «под Людовика XV» буквально за гроши. И эта сделка — мошенничество, как и само завещание.

После смерти матери он остался совсем один. У него нет друзей, никогда не было, только женщины, которых он заставлял «работать» на Монпарнасе; правда, нескольких женщин он не заставлял работать, во всяком случае поначалу; появлялись у него и мужчины, те сами платили ему. Он жил очень одиноко. Под старость стал еще более одиноким. Обыкновенный проходимец, вечные мелкие делишки. Он сеял страх только вокруг себя, но не дальше. Потеряв нас, он лишился своего царства. Ведь это был не

гангстер, а просто паршивая овца в семье, проходимец, воришка, рывшийся в шкафах, убийца без оружия. И он никогда не компрометировал себя перед посторонними. Все проходимцы живут так: без друзей, не зная величия, в постоянном страхе. Его преследовал страх. После смерти матери он вел странную жизнь. Жил в Туре. Ни с кем не был знаком, кроме официантов из кафе, поставлявших ему «левые» сведения о скачках, да нескольких клиентов, больших любителей выпить, которые играли в покер в задней комнате. Он стал похож на них, тоже много пил, глаза у него налились кровью, рот огрубел. В Туре у него ничего не осталось. Замок продан, участок заложен — ничего. Год он прожил на мебельном складе, где хранилась вся наша обстановка, этот склад когда-то арендовала мать. Весь год спал в кресле. Пока пускали. Прошел год. И наконец его выставили вон.

Весь этот год брат, наверное, надеялся выкупить заложенный участок. Он играл и постепенно проиграл всю мебель нашей матери, хранившуюся на складе, бронзовые статуэтки Будды, медную посуду, а потом — кровати, шкафы, постельное белье. И вот ничего не осталось, это случается с проходимцами, однажды утром он увидел, что

все его достояние — костюм и больше ничего, ни простыни, ни вилки, ни ножа. Брат совсем один. Целый год ни у кого не бывал. Тогда он написал письмо дальнему родственнику в Париж. Тот помог ему найти работу И комнату в Мальзербе. И в пятьдесят с лишним лет он впервые пошел работать, получил первое в жизни жалованье: он стал рассыльным в морской страховой компании. Проработал там лет пятнадцать. Потом его положили в больницу. Но умер он не там. Умер он в своей комнате.

Мать никогда не говорила о своем старшем сыне. Никогда не жаловалась. Никому не рассказывала, как он роется в шкафах. В ее материнской любви было что-то преступное. И мать скрывала ее. Она была уверена: ее не поймут те, кто не знает сына так, как знает его она, а говорить об этом дозволено перед Богом, только перед Ним. И она всегда обходилась общими фразами, банальными истинами. Говорила, что если бы он захотел, был бы самым умным из троих. Самым «артистичным». Самым проницательным. И он больше всех любил мать. Лучше всех ее понимал. И я представить не могла, говорила она, чтобы мальчики бывали столь чуткими, удивительно нежными.

Мы встретились с ним еще раз, и он говорил тогда о покойном младшем брате. Какая нелепая смерть, сказал он, как это ужасно, наш братишка, наш маленький Пауло.

В памяти осталась эта картина: мы все вместе обедаем в Шадеке. Сидим в столовой втроем. Одному из братьев семнадцать лет, другому — восемнадцать. Матери с нами нет. Мы с младшим ели, а он все поглядывал на нас, а потом отложил вилку и не мигая уставился на младшего. Долго глядел на него и вдруг сказал, очень спокойно сказал нечто ужасное. О еде. Будь осторожен, посоветовал он, не ешь так много. Младший брат не отвечает. Ест. Но старший не унимается. Не забывай, говорит он, большие куски мяса — для меня. А ты обойдешься. Почему это для тебя? — спрашиваю я. Он отвечает: потому что. Я говорю: чтоб ты помер. Есть больше не могу. Младший брат тоже. А он — он только и ждет, чтобы младший брат посмел открыть рот, произнести хоть слово; сжатые кулаки уже занесены, готовые безжалостно обрушиться на младшего, разбить ему лицо в кровь. Младший брат молчит. Он очень бледен. На ресницах уже дрожат слезы.

Старший умер в хмурый, пасмурный день. Кажется, это случилось весной, в апреле. Мне по-

звонили. Сказали только, что его нашли мертвым на полу в комнате. Больше ничего. На самом деле он умер задолго до конца своей жизни. Он еще ходил по земле, но было уже слишком поздно: он умер со смертью младшего брата. Какие безжалостные слова — все кончено.

Она просила, чтобы старшего похоронили рядом с ней. Я не помню, где они похоронены, на каком кладбище, кажется, где-то в долине Луары. Они лежат в одной могиле. Вдвоем. Это правильно. И невыносимо прекрасно.

Вечер наступал в один и тот же час в любое время года. Сумерки сгущались быстро, почти внезапно. В сезон дождей мы неделями не видели неба. Его затягивал густой туман, сквозь него не просачивался даже свет луны. А в сухой сезон небо ясное, ярко-синее, без единого облачка. Даже безлунными ночами светло. И ложатся тени — на землю, на воду, на дорогу, на стены.

Я плохо помню дни. Яркий солнечный свет затмевал все краски, смазывал их. Зато помню ночи. Синева вдалеке, где-то выше неба, за этим твердым, прозрачным куполом, на самом дне опрокинутой чаши. Небо для меня — вот это чистое сияние, что рассекает синеву, бесцветный блеск холодного расплавленного металла. Иногда

— мы жили тогда в Виньлонге — если матери было грустно, она приказывала запрячь двуколку, и мы ехали за город, полюбоваться летней ночью. Как же мне повезло — у меня были эти ночи, я любовалась ими вместе с матерью. Потоки прозрачного света струятся с небес, словно бесшумные, недвижные водопады. Воздух синий, его можно взять в руки. Синий-синий. Небо в сиянии лунного света тоже можно потрогать рукой. Все залито светом, поля по обеим сторонам реки освещены до самого горизонта. Каждая ночь — особая, непохожая на другие, и особость ее длится до самого рассвета. Единственный звук в ночи — вой собак. Они воют на луну, томясь ее тайной. Звук несется от деревни к деревне, собаки подхватывают его одна за другой, пока он не заполнит собой ночь от края до края.

Чернильные тени коричных деревьев лежат на аллеях. Сад застыл в каменной неподвижности. Неподвижен дом — величественный, мрачный. Застыл и мой младший брат — он шел рядом со мной, вдруг остановился и неотрывно смотрит на открытые ворота и пустынный проспект за ними.

В тот день его не оказалось у дверей лицея. В

черном автомобиле сидел один шофер. Он сказал мне, что молодой господин срочно уехал в Шадек, потому что заболел его отец. И приказал ему, шоферу, остаться в Сайгоне, чтобы утром отвозить меня в лицей, а вечером — обратно в пансион. Молодой господин вернулся через несколько дней. Я снова увидела его на заднем сиденье черного автомобиля, он, как всегда, прятал лицо от любопытных взглядов, как всегда, боялся. Мы молча обнялись прямо на улице, перед лицеем, обнялись, забыв обо всем на свете. Он целовал меня и плакал. Отец будет жить, сказал он. Рухнула его последняя надежда. Он говорил с отцом. Умолял позволить ему не расставаться со мной, остаться со мной еще ненадолго, сказал: ты должен меня понять, ты ведь, наверное, тоже любил, как я, хоть один раз за твою долгую жизнь, иначе быть не может, позволь же и мне испить до дна эту страсть, помрачение рассудка, безумную любовь к белой девушке, позволь мне побыть с нею еще немного, прежде чем она уедет во Францию, позволь любить ее, владеть ею еще, еще хотя бы год, я не в силах расстаться с ней сейчас, слишком рано, это все так ново, любовь еще так сильна, так неистова, мне было бы слишком тяжело лишиться ее сразу, ведь ты же знаешь, отец, что

такое уже не повторится.

Отец ответил, что предпочел бы видеть своего сына мертвым.

Мы обливались прохладной водой из глиняных кувшинов, целовались и плакали, и просто можно было умереть, но на этот раз мы были безутешны в своем наслаждении. А потом я ему все сказала. Не жалей ни о чем, сказала я, ведь ты же сам говорил, что меня не удержать и мои поступки от меня не зависят. Он ответил — теперь даже это безразлично, он уже готов ко всему. И тогда я сказала, что согласна с его отцом. Сказала, что не останусь с ним. И не стала объяснять почему.

Я иду по широкому проспекту в Виньлонге, по проспекту, что выходит на Меконг. По вечерам здесь всегда пустынно. В тот вечер, как и почти каждый день, в электросети произошла авария. С этого все и началось. Стоит мне выйти на проспект, а воротам захлопнуться за моей спиной, свет гаснет. Я бегу. Я очень боюсь темноты. Бегу все быстрее и быстрее. И вдруг слышу — или мне чудится, — будто позади меня тоже кто-то бежит. Я понимаю, что это правда, сзади кто-то есть, кто-то бежит за мной следом. Я оборачиваюсь на бегу и вижу высокую, худую словно скелет женщину, она бежит и смеется. Ноги босые, она

бежит за мной и пытается меня поймать. Я узнаю ее: это городская сумасшедшая, ее знают все в Виньлонге. Я впервые слышу ее голос, она разговаривает только по ночам, а днем спит, часто она спит прямо здесь, на проспекте, у входа в сад. И вот она бежит и что-то кричит на незнакомом мне языке. От страха я не могу даже позвать на помощь. Мне лет восемь. Я слышу ее пронзительный смех и радостные вопли, сомнения нет, она хохочет надо мной. Это воспоминание — о самом сильном, всепоглощающем страхе в моей жизни. Сказать, что он сильнее моего рассудка, моей воли — значит ничего не сказать. Я помню жуткую уверенность, захлестнувшую меня целиком: если женщина дотронется до меня хоть пальцем, это хуже смерти — я тоже сойду с ума. Я ворвалась в соседский сад, добежала до дома, взлетела по ступенькам крыльца и упала у самой двери. И еще много дней спустя не могла рассказать, что со мной случилось.

Сейчас, в старости, я все еще боюсь осознать, как ухудшается состояние матери, — я по-прежнему не решаюсь назвать его истинным именем — эта преграда отделяла ее от нас, детей. Именно мне суждено увидеть ее со всей ясностью, мне, а не братьям, потому что братья тут ничего не

понимают.

Это случилось за несколько месяцев до нашего окончательного разрыва, в Сайгоне, поздно вечером; мы сидели на террасе нашего дома на улице Тессар. И До тоже. Я посмотрела на мать. И с трудом узнала ее. А потом вдруг, словно при внезапной вспышке, увидела вместо матери незнакомку. Передо мной была чужая женщина, она сидела на месте матери, но не была ею, очень походила на нее, но эта женщина не могла быть моей матерью. Она как-то тупо смотрела в сторону парка, смотрела в одну точку, будто ждала чего-то неотвратимого, о чем я и не догадывалась. У нее было молодое лицо, молодые глаза, и вся она светилась счастьем, хоть и старалась сдерживаться в силу привычной стыдливости. Как она была хороша! Рядом с ней сидела До. Та, казалось, ничего не замечала. А я испугалась не красоты матери, не счастливого выражения ее лица, а совсем другого: кто-то сидел здесь вместо нее, а я и не заметила, когда произошла подмена, я знала, что никакой другой женщины тут быть не могло, только она, но вдруг исчезла именно ее неповторимость, и я не знаю, как вернуть ее. Нечем больше заполнить опустевшую оболочку. Я обезумела, будучи в полном рассудке. Еще

успею закричать. И я закричала. Слабый крик, бессильный призыв на помощь, но он разбил смертоносный лед, сковавший всех нас. Мать обернулась.

Я заполнила весь город ею, этой нищенкой с проспекта. Все попрошайки из больших городов, с рисовых полей, с дорог вокруг горы Сиам и с берегов Меконга соединились для меня в одной, в той, что напугала меня. Она приходила отовсюду. Но откуда бы ни шла, всегда направлялась в Калькутту. Она спала в тени коричных деревьев во дворе пансиона. А над ней склонялась моя мать, она обмывала и бинтовала ей чудовищную рану на ноге, изъеденную червями и обсиженную мухами.

Рядом с нищенкой — маленькая девочка, о ней я и хочу рассказать. Женщина прошла две тысячи километров, неся ее на руках. Девочка ей совсем не нужна, она бы отдала ее, берите, кому надо. У нее нет больше детей. Они ей ни к чему. Все уже умерли, или брошены, их было много за ее долгую жизнь. А эта девочка, что спит под коричным деревом, еще жива. Она проживет дольше всех. И умрет в доме, одетая в кружевное платье. И ее будут оплакивать.

Вот она сидит на краю рисового поля, у самой

дороги, кричит и хохочет во все горло. У нее такой звонкий смех, что и мертвого разбудит, да, разбудит всякого, кто прислушается к смеху ребенка. Целыми днями сидит она возле бунгало, в этом бунгало живут белые люди, девочка помнит: они дают нищим поесть. Но вот однажды она просыпается и отправляется в путь, однажды утром она уходит — кто знает почему, сворачивает к горам, идет через лес, карабкается по извилистым тропам на гребень Сиама. Она смотрит вверх, видит желто-зеленое небо над долиной по ту сторону горной цепи, — быть может, это помогает ей перебраться через горы. И вот она начинает спускаться к морю, к концу своего пути. Ее тощие ноги быстро-быстро мелькают на лесистых склонах. Она идет, идет. Проходит через зачумленные селения. В этих местах очень жарко. Здесь не чувствуется целительного дыхания моря. Только монотонное жужжание множества комаров, да мертвые дети, да дожди изо дня в день. И вот наконец дельта. Самая большая дельта в мире. Черный ил под ногами. Дорога ведет к Читтагонгу. Она прошла лесными тропами, миновала чайные плантации под палящим солнцем и теперь выходит к дельте. Оттуда начинается вращение земли. Она идет в этот далекий, недо-

стижимый край, на восток. И однажды утром видит море. Она радостно кричит, заливается своим удивительным, квохчущим смехом, так похожим на птичий щебет. Из Читтагонга плывет джонка, рыбаки, привлеченные смехом девочки, берут ее с собой, и вот она плывет с ними через Бенгальский залив.

А потом она появляется то здесь, то там, на свалках в предместьях Калькутты.

Затем пропадает из виду. Но снова появляется. В том же городе, за зданием французского посольства. Сытая, умиротворенная, она спит посреди парка.

В этом парке она проводит ночи. Купается в Ганге на рассвете. Она всегда весела, всегда смеется. И никуда больше не уходит. Она ест здесь, спит, здесь так спокойно ночью, она поселилась в парке под олеандрами.

Однажды в этот парк пришла я. Мне семнадцать лет. В английском квартале Калькутты стоят здания посольств, окруженные садами; идут муссонные дожди, теннисные корты пусты. На берегу Ганга хохочут прокаженные.

Наш пароход сделал стоянку в Калькуттском порту. Какая-то поломка на корабле. Мы гуляем по городу, чтобы убить время. На другой день

вечером мы уплываем.

Пятнадцать с половиной лет. В Шадеке слухи разносятся быстро. Даже этот наряд — разве он не говорит о позоре? Что за мать, она ничего в жизни не умеет, не сумела даже воспитать девочку! Бедное дитя. Расхаживает в этой шляпе, с накрашенными губами, вряд ли она так уж невинна, нет, это о чем-то говорит, это все не просто так, старается привлечь мужчин, ради денег. А ее братья и вовсе негодяи! Говорят, она с китайцем, сыном миллиардера, у него еще вилла на берегу Меконга, отделанная голубой плиткой. Казалось бы, для него это должно быть лестно, однако даже он не хотел бы видеть ее женой своего сына. Семейство белых проходимцев.

Все называли ее «дамой», она приехала из Саваннакхета. Ее муж получил назначение в Виньлонг. Целый год она в Виньлонге не появлялась. Все из-за того юноши, помощника управляющего в Саваннакхете. Им нельзя было больше любить друг друга. И тогда он застрелился. Слухи об этом дошли и до Виньлонга. В тот день, когда она уезжала из Саваннакхета в Виньлонг, он пустил себе пулю в сердце. На площади перед факторией, средь бела дня. Потому что из-за маленьких дочерей и из-за мужа, получившего

назначение в Виньлонг, она сказала ему: больше так продолжаться не может.

Это происходит каждый вечер в квартале Шолона, пользующемся дурной славой. Каждый вечер эта испорченная девочка отдает свое тело ласкам грязного китайца, сына миллионера. Она ходит в лицей вместе с другими белыми девушками, с юными спортсменками, которые учатся плавать кролем в бассейне спортивного клуба. Однажды им прикажут не разговаривать с дочкой учительницы из Шадека.

На переменах она стоит одна, облокотившись на ограду, и смотрит на улицу. Матери ничего не говорит. И продолжает ездить в лицей в черном лимузине. Девушки с любопытством глядят ему вслед, когда он отъезжает. Ни одна из них не нарушит приказа. Никто больше не заговорит с ней. Это отчуждение вызывает из глубин памяти даму из Виньлонга. Той было тридцать восемь лет. А девочке — десять. И теперь, в шестнадцать лет, девочка вспоминает о ней.

Дама сидит на террасе и смотрит на проспект, тянущийся вдоль Меконга, я вижу ее каждый раз, возвращаясь с младшим братом из воскресной школы. Ее комната — в центре большого дворца, а дворец стоит посреди парка олеандров и пальм.

Одна и та же преграда отделяет и даму, и девушку в розовой шляпе от остальных жителей фактории. Обе они смотрят на длинные проспекты и на реку, и обе так похожи друг на друга! Они остались в одиночестве. Королевы в опале. Их презирают — это само собой разумеется. Каждая обречена на немилость из-за собственного тела, это тело ласкает и целует любовник, каждая предана анафеме, ибо познала наслаждение, от которого можно умереть, так они сами говорят, умереть загадочной смертью, подстерегающей любовников, что не испытали любви. Вот в чем дело: в этой тяге к смерти. Смерть витает вокруг них, ее не запрешь в спальне, эта смерть сильна, и о ней знает весь город, знают в факториях, в административных центрах, на приемах, на нескончаемых балах в колониальных управлениях.

Дама в то время возобновила у себя приемы; она решила, что все уже в прошлом, юноша из Саваннакхета окончательно забыт. И снова стала устраивать вечера, которые необходимы, чтобы люди могли время от времени видеться, чтобы они хоть иногда вырывались из одиночества, неминуемого в затерянных среди нескончаемых рисовых полей факториях, среди страха, безумия,

лихорадки, забвения.

Вечером она выходит из лицея, у дверей — все тот же черный лимузин, на ней та же шляпа, придающая ей дерзкий и детский вид, те же золотые туфельки, и снова она идет, идет туда, где сын китайского миллиардера разденет ее и будет долго мыть под душем — вот так же она мылась каждый вечер дома, у матери, — будет поливать ее прохладной водой из глиняного кувшина, специально для нее приготовленного, а потом отнесет ее, мокрую, на постель, включит вентилятор и будет целовать ее всю, жарче и жарче, и она будет просить: еще, еще, а потом она вернется в пансион, и снова некому будет наказать ее, побить, высечь, выбранить.

Застрелился он на рассвете, перед факторией, на широкой площади, залитой светом. Она в это время танцевала. Потом наступил день. Очертил контур тела. Позже, под палящими лучами солнца, оно стало бесформенным. Никто не решался подойти к нему. Телом займется полиция. В полночь придет баркас, и все будет кончено, площадь очистят.

Мать сказала директрисе пансиона: это все пустяки, это не имеет значения, вы же видели ее?

Поношенные платьица, розовая шляпа, золотые туфельки — ей идет, не правда ли? Мать просто пьянеет от радости, говоря о своих детях, и от этого становится еще обаятельнее. Юные надзирательницы слушают ее как зачарованные. Что делать, говорит мать, они все крутятся вокруг нее, все мужчины из фактории, и женатые, и холостые, так и ходят кругами, все хотят эту малышку, девочку, еще не вполне оформившуюся, вы только посмотрите на нее — она же совсем ребенок. Люди говорят: опозорена? Что ж, а я скажу вам: как может сама невинность быть опозоренной?

Мать говорит, говорит. Да, говорит она, девочка выставляет себя напоказ, — и смеется, говоря о моем скандальном поведении, о шутовском наряде, об этой дурацкой шляпе, об удивительной элегантности девочки, которая уже пересекла свою реку; она смеется: вы же не понимаете, никто не может устоять здесь, во французских колониях, никому не устоять перед белоснежной кожей, не устоять перед этой девочкой; ее долго прятали в глуши и вдруг выпустили на свет божий, и теперь она в большом городе, у всех на виду разгуливает с китайским подонком, у которого много миллионов, и носит бриллиант на пальце, и впрямь, как жена банкира, — и мать

плачет.

Увидев мой бриллиант, она говорит тоненьким голосом: знаешь, это напоминает тот маленький солитер, который мой первый муж подарил мне к помолвке. Да, говорю я, господин Ноль. Мы смеемся. Правда, говорит она, его действительно так звали.

Мы долго смотрели друг на друга, а потом она улыбнулась мне ласково и чуть насмешливо, в этой улыбке было такое глубокое понимание всего, что происходит с ее детьми и что с ними еще произойдет, такое всеведение, что я чуть было не заговорила с ней о Шолоне.

Но все-таки не сделала этого. Ни тогда, ни потом.

Она долго молчала, словно ждала чего-то, а потом сказала с искренней любовью в голосе: ты понимаешь, что все кончено? Что здесь, в колониях, ты уже никогда не выйдешь замуж? Я пожала плечами и рассмеялась. Я выйду замуж где угодно и когда захочу, ответила я. Мать покачала головой. Нет, сказала она, только не здесь, здесь уже все знают. Она опять посмотрела на меня и сказала слова, которые я никогда не забуду: ведь ты им нравишься? Да, ответила я, ты права, я все равно им нравлюсь. И тут она сказала: я знаю, ты

нравишься им, потому что ты — это ты.

И еще спросила: ты видишься с ним только из-за денег? Помедлив немного, я ответила: да, только из-за денег. Она долго смотрела на меня, не веря моим словам. Потом сказала: я была не такая, как ты, учеба мне давалась труднее, и я была очень серьезной, да, я слишком долго была серьезной и утратила вкус к удовольствиям.

Это было во время каникул в Шадеке. Мать отдыхала в качалке, положив ноги на стул; она открыла двери в гостиную и в столовую, чтобы устроить сквозняк. Она была спокойна, ни на кого не злилась. Вдруг она увидела дочь, и ей захотелось поговорить со своей малышкой. Уже немного оставалось до конца, до отказа от концессии на плотину. До отъезда во Францию.

Я долго смотрела, как она засыпает.

Время от времени мать объявляет: завтра идем к фотографу. Она ругает цены, но все же тратится на семейные фотографии. Фотографии — их мы иногда смотрим, не смотрим друг на друга, но разглядываем снимки, не вместе, нет, каждый сам по себе, молча, без комментариев, мы смотрим и видим себя. Видим всех членов нашей семьи вместе и по отдельности. Видим себя совсем ма-

ленькими на старых фотографиях и сравниваем их с недавними снимками. Мы стали еще дальше друг от друга. Посмотрев, мы убираем фотографии в бельевой шкаф. Мать фотографирует нас, чтобы знать, нормально ли мы растем. Она подолгу смотрит на фотографии, как и все матери. Сравнивает снимки и рассказывает о том, как растут ее дети. Ей никто не отвечает.

Мать фотографирует только своих детей. Больше ничего, никогда. У меня нет ни одного вида Виньлонга, ни сада, ни реки, ни тамариндов, посаженных вдоль прямых проспектов еще во времена французского завоевания, ни одного снимка нашего дома, наших комнат, похожих на больничные палаты, с белеными стенами, большими железными кроватями, черными с позолотой, и освещенных, будто классные комнаты, тусклым светом уличных фонарей, с зелеными жестяными абажурами — ни одной фотографии, этого немыслимого дома, временного пристанища, такого безобразного, что хочется бежать оттуда куда глаза глядят, пристанища, где обитала моя мать, ожидая, пока можно будет построить настоящий дом, не здесь, а во Франции, в тех местах, о которых она рассказывала нам всю жизнь, — в зависимости от ее настроения,

возраста воспоминаний или в Па-де-Кале, или в Антр-дё-Мер. Но когда она наконец поселится в своем последнем доме на берегах Луары, ее комната будет точной копией комнаты в Шадеке, такой же безобразной. Она все забудет.

Она никогда не фотографировала ни дома, ни пейзажи, только нас, своих детей, чаще всего всех троих вместе: это стоило дешевле. Есть еще несколько любительских снимков, сделанных друзьями матери и ее новыми коллегами, приехавшими в колонии: они фотографировали тропические пейзажи, пальмы, маленьких кули на улицах — и посылали снимки близким.

Тайком от нас мать показывает наши фотографии своей родне, когда ездит в отпуск. Мы не желаем иметь дела с родней. Мои братья даже ее не знают. Меня, самую младшую, она поначалу возила показывать родственникам. Потом я выросла и перестала к ним ездить: тетки, шокированные моим поведением, не хотели, чтобы их дочери общались со мной. Теперь матери остается только показывать фотографии, одну за другой, по порядку; она показывает своим двоюродным сестрам детей, которых вырастила. Это словно долг, и она его выполняет: ведь, кроме кузин, никого не осталось из ее семьи, и вот мать

показывает им семейные фотографии. Понимает ли хоть кто-нибудь, как живет эта женщина? Как хочет во всем дойти до конца, не допуская и мысли, что можно оставить, бросить и этих кузин, и эту тяжкую ношу, это бремя? Наверное. Благодаря ее крестьянской стойкости, казалось бы, такой бессмысленной, я обретаю покой и благодать.

Когда она состарилась и волосы у нее поседели, она тоже пошла к фотографу, одна, и сфотографировалась в нарядном темно-красном платье, со своими двумя драгоценностями — цепочкой и золотой брошью с нефритом, маленьким кусочком нефрита в золотой оправе. На этой фотографии она аккуратно причесана, волосок к волоску, просто картинка. Местные жители, те, что побогаче, тоже ходили к фотографу, один раз в жизни, когда чувствовали приближение смерти. Фотографии были большие, одного формата, их вставляли в красивые рамки и вешали рядом с семейным алтарем. Люди на этих фотографиях — а я видела их немало — выглядели почти одинаково, сходство было просто поразительным. И не только потому, что все старики походят друг на друга: портреты были отретушированы так, что своеобразные приметы лиц, если они и уцелели к старости, оказывались словно смазанными. Все лица были

одинаково приукрашены для встречи с вечностью, старательно омоложены и обезличены. Заказчики сами этого хотели. Похожесть и скромность отличали их воспоминания о пребывании в семье, определяя личность каждого человека, его земные дела. Чем разительней было их сходство, тем очевиднее говорили фотографии об их принадлежности к семье. К тому же все мужчины были в одинаковых тюрбанах, все женщины — с туго зачесанными волосами и одинаковыми шиньонами, все одинаково одеты, у всех стоячие воротнички. Они очень похожи, я и сейчас узнала бы их из тысяч людей, и так же выглядела на фотографии моя мать в красном платье, тот же облик, кто-нибудь сказал бы — благородный, а другой возразил бы — невыразительный.

Больше они не разговаривают об этом. Между ними существует молчаливый уговор: он оставит свои попытки и не будет больше просить у отца разрешения жениться на ней. Они знают: у того нет ни капли жалости к сыну. Он не жалеет никого. Из всех китайских эмигрантов, что держат в руках торговлю в колониях, этот человек из виллы с голубыми террасами — самый безжалостный и самый богатый, его владения — самые обширные, они простираются далеко за

пределы Шадека, до самого Шолона, китайской столицы французского Индокитая. Мужчина из Шолона знает: решение отца, как и решение девочки, окончательно и обжалованию не подлежит. В глубине души он уже понял, что ее отъезд, разлука с ней — единственно возможный благополучный исход их романа. Ведь она не создана для замужества, она сбежит от любого мужа, рано или поздно все равно придется расстаться с ней, забыть ее, вернуть ее белым людям, вернуть ее братьям.

Он без ума от ее тела, и девочка сама перестала тяготиться этим телом, его хрупкостью, и, как ни странно, даже ее мать больше не тревожится, словно тоже вдруг обнаружила, что оно вполне пристойное, приемлемое, не хуже других. Любовник из Шолона считает, что чересчур жаркое солнце помешало белой девочке вырасти. Он сам родился и рос под палящим солнцем. Это их как-то роднит. Он говорит: годы, проведенные в изнуряюще жарком климате, сделали ее девушкой из Индокитая. У нее такие же тонкие запястья, как у местных девушек, густые волосы, вобравшие, кажется, в себя всю ее силу, такие же длинные, и главное — кожа, столь нежная от дождевой воды, которую здесь собирают для купания

женщин и детей. Он говорит: у француженок кожа грубоватая, даже шершавая на ощупь, не то что у нее. Еще он говорит: скудная пища тропиков — рыба да фрукты — тоже сыграла свою роль. И одежда — платья из хлопка и шелка, широкие, свободные, нисколько не стесняющие тело.

Любовник из Шолона уже не может жить без девочки-подростка, он растворился в этой любви. Каждый вечер девочка дарит ему наслаждение, и оно поглощает его целиком. Теперь он почти не разговаривает с ней. Быть может, он думает: слова бессмысленны и ей все равно не понять того, что он может сказать о ней, о своей любви, он ведь и сам только сейчас узнал, как это бывает, что же ему сказать? Или он понял: они никогда и не разговаривали по-настоящему, а только звали друг друга в полутемной комнате по вечерам. Да, раньше он не знал этого, а теперь уже понимает.

Он смотрит на нее. Даже с закрытыми глазами он все еще на нее смотрит. Вдыхает аромат ее лица. Вдыхает запах детской кожи, вбирает в себя ее дыхание, слабое теплое дуновение. Он почти не различает очертаний ее тела, это тело не такое, как другие, у него нет четких границ, застывших форм, здесь, в комнате, оно еще растет, ежечасно,

ежеминутно изменяется, оно не только там, где он видит его, оно везде, там, где он и не может его видеть, где царит игра и витает смерть, податливое, гибкое, оно растворяется в наслаждении, у него нет возраста, оно не лукавит, просто страшно, до чего оно все понимает.

Я смотрела, что он делает со мной, смотрела, как он берет меня, я и не знала, что так бывает, это превосходило все мои ожидания, отвечало малейшим движениям моего тела. Так я стала его ребенком. И он тоже стал чем-то другим для меня. Я узнавала невообразимую нежность его кожи, его полового органа. Тень другого мужчины проносилась по комнате, тень юного убийцы, но я еще не знала об этом, я его не видела. И другая тень витала в комнате, тень молодого охотника, вот о ней я знала, иногда я видела ее в минуты наслаждения и говорила ему, любовнику из Шолона, о теле того, другого, о его немыслимой нежности, о том, как он был смел, когда по лесу или по берегу реки шел прямо на логово черной пантеры. И все это разжигало в нем желание, и он брал меня снова и снова. Я была — его дитя. Каждый вечер он занимался любовью со своей дочерью. Иногда ему вдруг становится страшно, он обеспокоенно спрашивает, как она себя чув-

ствует, будто только сейчас обнаружил, что она, подобно другим, смертна, его пронзает мысль, что он может потерять ее. Он вдруг замечает, какая она хрупкая, и его охватывает внезапный страх. Его пугают ее головные боли, ему страшно, когда она лежит, слабая, мертвенно-бледная, неподвижная, с мокрым платком на глазах. Его пугает внезапно находящее на нее отвращение к жизни, когда она думает о матери и начинает кричать и плакать от бешенства при мысли, что не может ничего изменить, не может сделать мать счастливой, пока та еще жива, не может убить людей, которые причинили ей зло. Склонившись над ней, он собирает губами ее слезы, с неистовой силой прижимает ее к себе, обезумев от желания при виде ее слез и ее ярости.

Он берет ее, как взял бы свое дитя. Вот так же он овладел бы своей дочерью. Он играет с телом своего ребенка, переворачивает его, прижимается к нему лицом, губами, утыкается в него лицом. А девочка отдается этой игре, зная заранее, к чему она приведет. И вот уже она молит его о чем-то, а он кричит: замолчи, кричит, что больше не хочет ее, не хочет наслаждаться ее телом, и вот они снова обнимаются, сплетаются в смертельном страхе, страх вновь окутывает их, и они плывут

по течению, и снова слезы, отчаяние, счастье.

Весь вечер они молчат. В черном автомобиле, который везет их к пансиону, она кладет голову ему на плечо. Он обнимает ее. И говорит: как хорошо, что скоро придет пароход из Франции и увезет тебя навсегда. Они молчат весь остаток пути. Несколько раз он просит шофера не торопясь проехать вдоль реки. Утомленная, она засыпает, прижавшись к нему. Он будит ее поцелуями.

В дортуаре горит голубоватый свет. Пахнет ароматической смолой: ее всегда жгут здесь на закате солнца. Душно, воздух неподвижен, все окна раскрыты настежь, но нет ни ветерка. Я снимаю туфли, чтобы не шуметь, но не волнуюсь, знаю, что надзирательница не встанет, ведь теперь я могу возвращаться, когда мне вздумается. Я сразу подхожу к кровати Э. Л., за нее мне всегда немного беспокойно, боюсь, как бы она не сбежала из пансиона в мое отсутствие. Она здесь. Вот она, Э. Л., крепко спит. Помню, что и во сне у нее упрямый, почти враждебный вид. Будто она от чего-то отказывается. Руки закинуты за голову. Она спит не так, как другие девушки, те лежат в приличных позах, а у нее ноги поджаты, лица не видно, подушка соскользнула на пол. Я догадываюсь: она ждала меня и, не дождавшись,

уснула, обиженная, сердитая. Должно быть, плакала, пока не провалилась в сон. Мне хотелось бы ее разбудить, мы бы поболтали шепотом. Я больше не разговариваю с мужчиной из Шолона, и он больше не разговаривает со мной, и теперь мне хочется расспросов Э. Л. Она всегда внимательна, как все люди, которые не понимают, что им говорят. Но будить ее нельзя. Если Э. Л. разбудить среди ночи, она больше не уснет. Ночью она встает, ей хочется на улицу, и она выходит, сбегает по лестницам, бродит по коридорам, по пустому двору, бегает, зовет меня, она так счастлива, ничего нельзя с ней поделать, разве что лишить ее прогулки днем, но ведь именно этого она и ждет. Нет, я не стану ее будить. Под москитной сеткой невыносимо душно, если задернуть ее, то просто нечем дышать. Но ведь я пришла с улицы, с берегов реки, где ночью всегда свежо. Я уже привыкла, лежу неподвижно и жду, когда это пройдет. Постепенно проходит. Я никогда не засыпаю сразу, хоть и очень устаю от того нового, что пришло в мою жизнь. Я думаю о мужчине из Шолона. Сейчас он, наверное, сидит в каком-нибудь ночном баре недалеко от «Родника» вместе со своим шофером, и они молча пьют, вдвоем, без чужих, пьют, как всегда, рисовую водку. Или, мо-

жет быть, он вернулся домой и уснул в полумраке своей комнаты, так ни с кем и не поговорив. Сегодня мне невыносимы мысли о мужчине из Шолона. И так же невыносимы мысли об Э. Л. Их жизнь видится мне полной глубокого смысла, пришедшего откуда-то извне. А я ничего подобного не знаю. Мать говорит: девочка вечно всем недовольна. Мне кажется, я начинаю отчетливее видеть свою жизнь. И чувствую — я уже могу себе в этом признаться, — чувствую смутное желание умереть. Слово «смерть» уже неотделимо от моей жизни. В глубине души мне хочется остаться одной, но я больше не бываю одна с тех пор, как ушла из детства, покинула свою семью, семью охотника. Я буду писать книги. Это единственное, что я вижу за пределами настоящего, в раскинувшейся передо мной пустыне моей будущей жизни.

Я не помню, какие слова прочла в телеграмме из Сайгона. Было ли там сказано «скончался» или «Господь призвал его»? Кажется, так и было: «Господь призвал». Я вдруг отчетливо поняла: она не могла послать такую телеграмму. Младший брат. Умер. До меня это не сразу дошло, а потом вдруг — боль, она везде, она захлестнула меня, накрыла с головой, повлекла куда-то, я ничего не

видела, меня больше не было, осталась только боль, я уже не знала какая: то ли вернулась боль от потери ребенка — это случилось несколько месяцев назад, — то ли накатила новая. Теперь я понимаю — новая боль, мой ребенок прожил всего несколько часов, я не знала его, и тогда мне не приходило в голову покончить с собой, а теперь мне хотелось этого.

Они заблуждались. Просто ошиблись, но в несколько секунд эта ошибка захватила всех и вся. Скандал на уровне Господа Бога. Мой младший брат был бессмертен, а они этого не заметили. Бессмертие таилось в теле моего брата, пока он жил на земле, но мы не знали, никто не знал, что в нем скрыто бессмертие. Тело младшего брата умерло вместе с ним. А мир продолжал жить без этого тела — вместилища божественного духа, без этого чудесного духа. Они заблуждались. Ошибка захватила всех и вся, это скандал, позор.

Когда младший брат умер, мир должен был умереть вслед за ним. Умереть его смертью. Это была цепная реакция, смерть начиналась с него, с этого ребенка — ведь для меня он так и остался ребенком.

А умершее тело ничего не знало о том, что

последовало за его смертью. Мой брат двадцать семь лет носил в себе бессмертие, не ведая о нем.

Никто не знал, кроме меня. И когда это знание пришло ко мне, стало очень просто: тело младшего брата было и моим телом, поэтому я тоже должна была умереть. И я умерла. Младший брат и меня вобрал в себя, я соединилась с ним и умерла.

Людей надо предупреждать о таких вещах. Они должны узнать, что бессмертие смертно, что оно может умереть, такое уже случалось и может случиться снова. Бессмертие не проявляется само по себе, ведь всякий, кто живет, — смертен. Оно не существует в частностях, это — начало всех начал. Люди должны знать, что иные из них могут носить бессмертие в себе, сами того не ведая. А кто-то может открыть его в своих ближних, тоже не ведая о его могуществе. Поймите, жизнь бессмертна, только пока она жива. Поймите, бессмертие — не вопрос времени, даже не вопрос собственно бессмертия, дело в другом, но никто не знает в чем. Сказать, что бессмертие не имеет ни начала ни конца, — ложь, но так же лживы заверения в том, что оно начинается и кончается с жизнью человеческого духа, хотя, быть может,

бессмертие связано с духом, с поиском ветра в поле. Взгляните на безжизненные пески пустынь, на тела мертвых детей: бессмертие через них не проходит, оно останавливается и осторожно их огибает.

А младший брат носил в себе чистое бессмертие, это не плод чьей-нибудь фантазии, это было бессмертие без изъяна, не подверженное никаким случайностям, беспредельное. Младший брат не вопиял в пустыне, ему не о чем было вопиять, нечего сказать где бы то ни было, просто нечего. Он не получил образования, никогда ничему не учился. Он не мог складно говорить, едва умел читать и писать, иногда казалось даже, что он не умел страдать. Он просто ничего не понимал и всегда испытывал страх.

Не знаю, почему я так безумно любила его, эта любовь навсегда останется для меня непостижимой тайной. Почему я любила его так, что захотела умереть его смертью? До этого мы не виделись Десять лет, и вспоминала я о нем не часто. Наверное, я любила его всегда, и ничто не было властно над этой любовью. Ничто, кроме смерти, а о ней я забыла.

Мы редко говорили с ним, почти не говорили о

старшем брате, о нашей общей беде, о несчастье матери, о неудаче с плотиной. Говорили больше об охоте, о карабинах, о механизмах, об автомобилях. Он не мог спокойно видеть разбитую машину, злился и говорил, какие автомобили у него будут когда-нибудь. Я уже знала все типы охотничьих карабинов и все марки машин. Еще мы, конечно, говорили о том, что можно попасть в зубы тигру, если не будешь смотреть в оба, что можно утонуть, если вздумаешь купаться там, где слишком быстрое течение. Он был старше меня на два года.

Ветер утих, и под деревьями стало неестественно светло, как бывает только после дождя. Птицы кричат изо всех сил, будто ошалелые, им не нравится холод, и они оглушительно орут в прохладном воздухе, широко-широко разевая клювы.

Пароходы поднимались по реке, мотор молчал, их тянули буксиры, они двигались к порту в устье Меконга, в сторону Сайгона. Эту излучину одного из рукавов Меконга называют здесь Ривьерой, сайгонской Ривьерой. Пароход стоял здесь восемь дней. Он причаливал к пристани, и с ним причаливала сама Франция. Можно было

пообедать и потанцевать во Франции, — правда, моя мать не могла себе этого позволить, слишком дорого, да ей это было и ни к чему, а вот с ним, с любовником из Шолона, можно было бы туда пойти. Но он не хотел этого, боялся, что его увидят с такой молоденькой белой девушкой, ей он ничего не говорил, она сама все знала. В то время, всего лет пятьдесят назад, путешествовать по свету можно было только ни пароходах. Огромные пространства на всех континентах еще не были опутаны сетью шоссейных и железных дорог. Сотни, тысячи квадратных километров связывались лишь древними морскими путями. Между Индокитаем и Францией ходили большие пассажирские суда компании «Мёссажери маритим», мушкетеры морских трасс — «Портос», «Д'Артаньян», «Арамис».

Путешествие длилось двадцать четыре дня. За это время пароход становился настоящим городом со своими улицами, барами, кафе, библиотеками, где происходили встречи, романы, свадьбы и смерти. Здесь складывалось свое общество, случайное, вынужденное, разумеется, но именно потому оно всех устраивало, и для многих это были незабываемые, веселые дни, а для женщин — вообще единственные в их жизни

путешествия. Да, для большинства женщин и для некоторых мужчин тоже путешествие из Франции в колонии на всю жизнь оставалось самым захватывающим приключением. Так и для нашей матери, мы тогда были совсем маленькие, а она часто говорила потом о «лучших днях своей жизни».

Они уходили. Прочь. Испокон веков мужчины уходили в море. Разлука с землей отзывалась в душе болью и отчаянием, но это никогда не мешало уходить мужчинам — вечным скитальцам, мыслителям и просто путешественникам, пускавшимся в единственный в своей жизни долгий путь по морю, как не мешало женщинам отпускать их; женщины никогда не уезжали, они оставались, чтобы хранить семейный очаг, чистоту расы, нажитое добро, чтобы мужчинам было куда возвращаться. На протяжении долгих веков путешествия на кораблях оказывались дольше и трагичнее, чем в наши дни. Длительность путешествия была тогда равна расстоянию. Люди привыкли медленно передвигаться и по земле, и по морю, привыкли запаздывать, дожидаться попутного ветра, благоприятной погоды, солнца, притерпелись к кораблекрушениям, к смерти. Пароходы, которые видела белая девочка, были

самыми современными, самыми быстроходными. В то время уже появились первые авиалинии, которые постепенно и неизбежно лишили человечество долгих путешествий по морю.

Мы по-прежнему приходили каждый вечер в гарсоньерку в Шолоне. Он вел себя как раньше, еще долгое время делал все как обычно, обливал меня водой из глиняных кувшинов и относил в постель. Он ложился рядом со мной, но утратил всю силу, ничего больше не мог. С тех пор как день моего отъезда, пусть еще не близкий, был назначен, он больше не мог владеть моим телом. Это случилось внезапно, помимо его воли. Его тело отвергало тело девушки, которое должно было покинуть его, предать. Он говорил: я не могу больше быть с тобой, я думал, что смогу, но ничего не получается. Я умер, говорил он. С ласковой, извиняющейся улыбкой он бормотал, что, наверное, никогда больше не сможет. А ты хотел бы? — спрашивала я. Пытаясь рассмеяться, он отвечал: не знаю, сейчас, может быть, и хотел бы. Его нежность растворилась в боли. Он не говорил о том, как ему больно, ни разу и словом не обмолвился. Иногда губы у него начинали дрожать, тогда он закрывал глаза и стискивал зубы.

Он по-прежнему молчал, и я не знала, что он

видит там, за сомкнутыми веками. Казалось, он любил эту боль, любил очень сильно, словно раньше — меня, до смерти, и теперь предпочел ее мне. Он еще говорил, что ему хочется ласкать меня, ведь я так желала этого, а он хотел только смотреть, как на меня снизойдет наслаждение. И он ласкал меня, и смотрел на меня, и звал меня, будто своего ребенка. Мы решали не встречаться больше, но это было невозможно, абсолютно невозможно. Каждый вечер я снова видела его у дверей лицея в черном автомобиле, он сидел, пряча лицо от стыда.

Наступил час отплытия, пароход дал три протяжных гудка, очень долгих, очень громких, они разнеслись по всему городу, и небо над портом почернело от дыма. К пароходу подплыли буксиры и потащили его на середину реки. Сделав свое дело, буксиры отдали швартовы и вернулись в порт. Тогда пароход снова прощально загудел, опять раздался оглушительный рев, почему-то печальный, и все готовы были расплакаться, не только те, кто уезжал или провожал своих близких, но и люди, пришедшие просто так, посмотреть, хоть им и не с кем было прощаться. Застучали моторы, и пароход медленно поплыл вниз по реке. Еще долго был виден вдали его высокий силуэт, он

уплывал все дальше и дальше, к морю. Толпа стояла, глядя ему вслед, люди еще махали шарфами и платочками, но все реже, все нерешительнее. И наконец силуэт корабля скрылся за горизонтом. День был ясный, и, казалось, пароход медленно погружается в воду.

И она не выдержала: лишь раздался первый прощальный гудок, когда убрали сходни и заработали буксиры, потащили пароход от земли, она тоже заплакала. Никто не должен был видеть ее слез: ведь он был китайцем, разве таких возлюбленных оплакивают? Перед матерью и младшим братом она не подала виду, что ей больно, оставаясь внешне бесстрастной, как принято было в их семье. Она видела его автомобиль, длинный, черный, с шофером в белой ливрее. Автомобиль стоял на отшибе, в некотором отдалении от стоянки машин «Мессажери маритим». Она сразу узнала его. Узнала и едва различимый силуэт на заднем сиденье, неподвижный, словно приросший к месту. Девушка стояла, облокотившись о парапет, как тогда на пароме. Она и теперь знала, что он смотрит на нее. Она тоже смотрела на него, уже почти не различая, она не сводила глаз с черного автомобиля. А потом и он исчез. Скрылся вдали порт, и уже не было видно земли.

Потом было Китайское море, Красное море, Индийский океан, Суэцкий канал; однажды, проснувшись утром, мы поняли, что вошли в канал: пароход больше не качало, будто он плыл по песку. Но сначала был океан. Огромный, необъятный океан, простиравшийся до Южного полюса, по нему пролегал самый длинный отрезок нашего пути — от Цейлона до Сомали. Бывали дни — вода такая тихая, такое ласковое солнце в безоблачном небе, что казалось, будто мы плывем вовсе не через океан. В такие дни на пароходе открывались все двери в салонах, коридорах, все иллюминаторы. Пассажиры не могли больше сидеть в душных каютах и уходили спать на палубу.

Во время путешествия, когда пароход плыл через океан, умер один человек. Во время того первого путешествия или в другой раз — она уже не помнит. Несколько человек играли в карты в баре для пассажиров первого класса, среди них был один юноша, и вдруг он молча положил карты на стол, вышел из бара, бегом промчался по палубе и бросился в море. Пароход шел полным ходом, и, когда остановился, найти тело было уже невозможно.

Нет, она пишет эти строки и видит не корабль,

а другое место, где она услышала эту историю. Шадек. Юноша был сыном управляющего. Она знала его: он тоже учился в лицее в Сайгоне. Он встает перед глазами, высокий, темноволосый, доброе лицо, очки в роговой оправе. В его каюте не нашли никакой записки, никакого объяснения. Ужасно: он был ее ровесником, ему было семнадцать лет. На рассвете пароход отправился дальше. Это было самое страшное. Заря, бескрайнее море, поиски решено прекратить. Еще одно расставание.

Во время этого путешествия, в том же океане, в сумерках, из большого салона на верхней палубе вдруг донеслись звуки вальса Шопена; девушка помнила этот вальс — несколько месяцев она пыталась разучить его, но безуспешно, ей ни разу не удалось сыграть вальс правильно, и поэтому мать наконец позволила ей бросить занятия музыкой. Эту ночь, одну из множества ночей, девушка провела на пароходе, она точно знает, она была на палубе, когда вдруг зазвучала под звездным небом музыка Шопена. Было совсем тихо, ни ветерка, и музыка разнеслась по темному пароходу как откровение свыше, но никто не знал кому, как наказ от Бога, но никто не знал о чем. И девушка вскочила, словно для того, чтобы

броситься в море, покончить счеты с жизнью, а потом долго плакала, думая о мужчине из Шолона; она уже не была уверена в том, что не любила его, может, она и сама не знала об этой любви, любовь ушла, как вода в песок, и это открылось ей только сейчас, в ту минуту, когда зазвучала музыка посреди безбрежного моря.

Так же потом ей открылось бессмертие младшего брата посреди безбрежной смерти.

Люди вокруг нее спокойно спали, музыка окутывала их, но не будила. Девушка подумала, что это самая тихая на свете ночь, таких никогда еще не бывало в Индийском океане. Кажется, той же ночью она увидела, как на палубу вышел ее младший брат под руку с женщиной. Он облокотился на перила, а женщина обняла его, и они поцеловались. Девушка спряталась поблизости, чтобы получше разглядеть их. Она узнала женщину. Уже несколько дней та была неразлучна с младшим братом. Замужняя женщина, несчастливая в браке. Муж, похоже, ничего не замечал. Последние дни путешествия брат провел с нею в своей каюте, выходили они только под вечер. В эти дни младший брат смотрел на мать и сестренку и, казалось, не узнавал их. Мать помрачнела, стала неразговорчивой, она ревновала. А сестренка

плакала. Она была счастлива счастьем брата, но в то же время боялась за него. Ей казалось, что он покинет их, уедет с этой женщиной, но нет, по приезде во Францию он вновь присоединился к ним.

Она не знала, сколько времени прошло после ее отъезда, прежде чем он подчинился наконец воле отца и женился на девушке, которую тот выбрал для него: семьи сговорили их еще десять лет назад, девушка тоже была богата, осыпана золотом, бриллиантами, украшениями из нефрита. Это была китаянка, как и он, из Северного Китая, она приехала из Фушуня в сопровождении своей родни.

Наверное, он еще долго не мог быть с ней, не мог подарить ей наследника всех богатств. Воспоминание о белой девочке было слишком свежо, ее тело виделось ему в супружеской постели. Еще много дней он желал только ее, к ней одной были устремлены все его помыслы, его любовь, его безграничная нежность и мрачная, пугающая чувственность. А потом однажды настал день, когда близость с женой стала возможной. В этот день он так страстно желал белую девочку, это было до такой степени невыносимо, что он вдруг,

словно в горячечном бреду, увидел ее всю и овладел другой женщиной, желая только ту, белую девочку. Это была ложь, но он вошел в тело своей жены, это была ложь, но он сделал то, чего ждали от него обе семьи, и Небо, и духи предков там, на севере, — он смог зачать наследника имени и состояния.

Быть может, она знала о существовании белой девушки. У нее были служанки — уроженки Шадека, они все знали и, наверное, рассказали ей. Она не могла не видеть, как ему тяжело. Девушки были ровесницами, ей тоже было шестнадцать. Что же произошло в ту ночь? Увидела ли она слезы своего супруга? Попыталась ли утешить его? Могла ли шестнадцатилетняя девочка, невестакитаяночка тридцатых годов, утешить мужчину, страдающего от сознания своей измены, и взять груз на свои плечи? Или она сочла это чересчур непристойным? Как знать? Или все было не так: не говоря ни слова, она просто проплакала вместе с ним остаток ночи. И, может быть, потом, после слез, пришла любовь.

Но белая девушка так никогда и не узнала об этом.

Прошли годы, кончилась война, она выходила замуж, рожала детей, разводилась, писала

книги, и вот много лет спустя он приехал с женой в Париж. Он позвонил ей: «Это я». Она сразу узнала его. Он сказал: я только хотел услышать ваш голос. Она ответила: да, это я, здравствуй. Он смутился, его опять, как раньше, одолел страх. Голос его дрогнул. И у него вдруг снова появился китайский акцент. Он знал, что она пишет книги, ему рассказала ее мать, он встречался с ней в Сайгоне. Знал и о смерти младшего брата, посочувствовал. Не мог придумать, что еще сказать. А потом вымолвил главное: все как прежде, он еще любит ее, никогда не переставал любить и будет любить только ее до самой смерти.